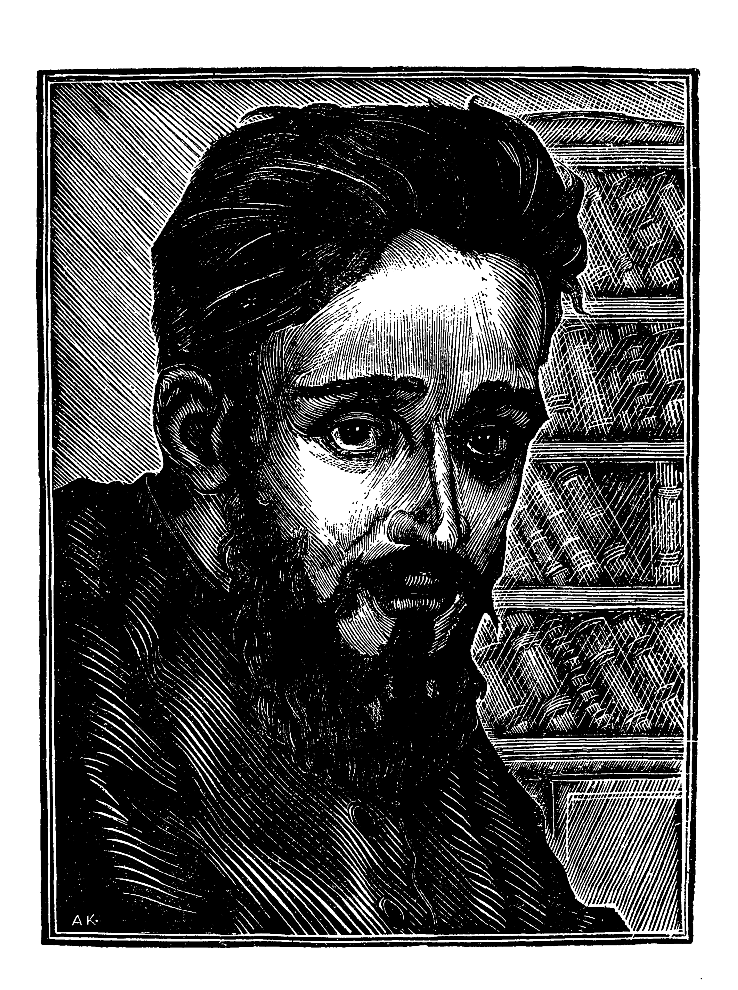


ГАРШИН

Н. БЕЛЯЕВ




AK

Жизнь Замечательных Людей

ГАРШИН

Н. БЕЛЯЕВ

13

1938

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1 9 3 8

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственный редактор *В. Бархаш.* Технический редактор *О. Подобедова.* Корректор *Р. Гольденберг.* Сдано в произв. 13/VII 1938 г Подписано к печати 29/XI 1938 г. М. Г. 131. Формат бум. 70×108 1/32. 5 5/8 п. л. 8,28 уч. авт. л. Уполномоч. Главлита Б—55176. Заказ типогр. № 579. Тираж 45 000

Фабрика юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», ул. Фридриха Энгельса, 46.

ВВЕДЕНИЕ

Всеволод Михайлович Гаршин, любимый писатель русской интеллигенции восьмидесятых годов, — одна из самых трагических фигур эпохи безвременья, черной эпохи всемогущего ханжи и мракобеса Победоносцева и его венценосного покровителя, тупого жандарма Александра III.

Гаршин — автор всего лишь нескольких новелл, его «собрание сочинений» укладывается в одну небольшую книжку, и все же Гаршин прочно вошел в историю русской литературы как писатель огромной художественной силы и обаяния, как один из властителей дум целого поколения русской интеллигенции восьмидесятых годов.

Чем же близок и почему интересен Гаршин советскому читателю? Почему этот писатель, в произведениях которого столько грусти и пронизывающей тоски, вызывает интерес у жизнерадостных и целеустремленных советских людей?

Советский народ не отказывается от своего прошлого. Его счастливое сегодня завоевано трудной и упорной борьбой многих поколений. В этой борьбе были ошибки и поражения, были даже периоды отчаяния и безнадежности, но в ней героически преодолевались неимоверные трудности, лежавшие на пути народа к его расцвету, в ней закалялись его передовые борцы, в ней выковывались лучшие качества

народа: любовь к родине, мужество, целеустремленность, сплоченность, деловитость и революционный размах. Вот почему мы, современники сталинской эпохи, с любовью и глубоким уважением изучаем историю своего народа, историю жизни тех благородных его представителей, кто на заре рабочего движения страстно и упорно искал выхода из мрачного царства насилия и угнетения в светлое царство свободы.

Алексей Максимович Горький рекомендовал советской молодежи познакомиться с историей молодого человека XIX столетия. Он указывал, что судьба молодого человека занимала крупнейших литераторов Западной Европы и России в течение полутораста лет и что жизнь его служила основной темой литературы XIX века.

Биография писателя Гаршина—это, по существу, история молодого человека XIX века, полного сил и энергии, полного стремления бороться со злом мира, но обреченного на гибель в удушливой атмосфере эпохи безвременья.

Было бы грубой ошибкой сводить трагедию жизни Гаршина к истории душевной болезни писателя, объяснять ее «медицински», как это пытались делать «благонамеренные» критики из лагеря либеральной буржуазии.

Алексей Максимович Горький писал: «Русская интеллигенция росла и развивалась в условиях совершенно зверских, — это неоспоримо. Европейская буржуазия не угнетала, не оскорбляла своих интеллигентов так гнусно и грубо, как самодержавная власть Романовых и полудикий русский буржуа. Русская интеллигенция имеет право гордиться обилием и разнообразием своих талантов, она может сказать, что была самой свободомыслящей силой XIX века».

Творчество Гаршина относится к тем тяжелым годам русской истории, когда, порабощенный самодержавием, народ страдал особенно тяжко, когда крах «Народной воли» обнаружился с полной очевидностью, а великую роль русского рабочего класса как будущего освободителя всего народа правильно оценивали лишь небольшие группы ре-

волюционеров-марксистов. Именно в эту эпоху Гаршин стал любимейшим писателем передовой русской интеллигенции.

Поэт восьмидесятых годов, друг Гаршина, Надсон в грустных и гневных строках писал:

Наше поколенье юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет;
Рано в наши годы дума отравляет
Первых сил размах и первых чувств расцвет.

Кто из нас любил, весь мир позабывая?
Кто не отрекался от своих богов?
Кто не падал духом, рабски унывая,
Не бросал щита перед лицом врагов?

Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем.
Нас томит безверье, нас грызет тоска...
Даже пожелать мы страстно не умеем,
Даже ненавидим мы исподтишка!

Гаршин, надломленный болезнью, видел торжество тупой реакции, видел, как значительная часть еще недавно революционно настроенной интеллигенции переходит в лагерь обывателей, «мельчает», пытаясь оправдаться теорией «малых дел». И со всей силой своего художественного мастерства Гаршин обрушивается на этих ренегатов, создав, как бы в противовес им, образ благородного безумца, мечтающего сорвать и уничтожить символический цветок, впитавший все зло мира, и пожертвовать для этого своей жизнью.

В своих небольших рассказах Гаршин дал незабываемые картины хищничества буржуазии и страданий рабочих. Он дал правдивую картину захватнической войны и показал тяжелую жизнь русского солдата. Гаршин олицетворял благородную человеческую совесть, возмущенную несправедливостью строя насилия и угнетения. Его творения потрясали умы; они вызывали ненависть к деспотическому режиму самодержавия и этим способствовали росту поколения, которое доказало, что умеет не только ненавидеть и содрогаться от созерцания зла, но и по-настоящему с ним бороться и в этой борьбе побеждать.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Зима в тот год была суровая и печальная. По всей стране стоустая молва разносила слухи о тяжелых поражениях русской армии под Севастополем, о грандиозных хищениях военных поставщиков и казнокрадстве, принявших поистине неслыханные размеры.

Севастопольское поражение обсуждалось повсюду. Режим Николая I обнажил перед всем миром всю свою гниль, всю беспомощность отсталой крепостнической страны в столкновении с экономически передовым буржуазным Западом.

В маленьком городке Екатеринославской губернии, в семье офицера квартировавшего здесь кирасирского Глуховского полка Михаила Егоровича Гаршина так же, как и по всей стране, вечерами велись оживленные споры о политике. Однако сам Михаил Егорович был больше озабочен своими семейными делами. Офицерское жалованье — маленькое, доходы с небольшого имения — ничтожные, а семья все увеличивается... В эту зиму ждали нового прибавления — третьего ребенка.

В январе Гаршин отправил жену в имение тещи — «Приятная долина», в Бахмутский уезд, и там 2 февраля 1855 года мать впервые прижала к своей груди сына Всеволода.

О предках Гаршина известно немного. По семейному преданию, родоначальником рода Гаршиных был мурза Гарша,

вышедший при Иоанне Грозном из Золотой орды и крестившийся. Ему и его потомкам были даны земли в Воронежской губернии.

Дед писателя, Егор Архипович Гаршин, был жестоким и властным помещиком. Он беспощадно порол своих крепостных, насиловал дворовых девок и обливал кипятком фруктовые деревья у своих соседей. Самодур и сутяга, он всю жизнь вздорил с соседями, растратил на тяжбы свое довольно значительное состояние, и отцу Гаршина, одному из двенадцати детей, досталось лишь маленькое имение и семьдесят душ крестьян.

Отец писателя, в отличие от деда, слыл мягким, даже добродушным человеком. Он получил неплохое образование: окончил московскую гимназию и учился два года на юридическом факультете Московского университета. Не в пример большинству офицеров, он нарушал традиции, усвоенные в армии Николая Палкина, — не бил солдат и не подвергал их оскорблениям.

Кирасирский полк кочевал с места на место. Офицеры, по обычаю, наносили визиты соседям-помещикам и приглашали их к себе на полковые вечера. Одно время полк квартировал в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. В числе бахмутских помещиков был отставной морской офицер Акимов.

Про Акимова рассказывали странные для того времени вещи. Он не избивал крестьян, не обирал их, а в тяжелый 1843 год, когда голодный тиф и цынга косили население, заложил свое имение, занял денег и привез из плодородных губерний большое количество хлеба, которое и роздал голодающим мужикам.

Местные помещики сторонились Акимова. Одни считали его опасным вольнодумцем, другие — просто сумасшедшим.

Молодой офицер Гаршин часто навещал старика Акимова. Ему нравилась старшая его дочь, Катя, миловидная,

смышленая и по тогдашним временам образованная девушка. В 1847 году Екатерина Степановна стала его женой.

Жизнь семьи Гаршиных проходила в скитаниях с полком из одного провинциального городка в другой. «Как сквозь сон помню,— пишет Всеволод Гаршин в своих записках,— полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках».

В 1858 году отец писателя получил наследство от деда и вышел в отставку. Он купил в маленьком городке Старобельске, в двенадцати верстах от своего имения, домик, где и поселился вместе с семьей.

Самые ранние детские воспоминания писателя связаны с войной, офицерами и военными рассказами, главным образом о недавно закончившейся Севастопольской кампании. В доме отца, отставного военного, постоянно гостили офицеры кавалерийских полков, которые, часто сменяясь, квартировали в городе.

Больше всего Всеволод любил слушать жившего в доме слугу — отставного солдата. Мальчик способен был часами, не уставая, внимать историям о боевых походах, об отважных подвигах, где правда смешивалась с красочным вымыслом.

Постепенно в детском мозгу сложилась мысль, что непременно надо итти на военную службу — «защищать отечество». Мальчик заказал кухарке специальные пирожки на дорогу, связал в узелок немного белья и предстал перед родителями, чтобы попрощаться с ними.

— Прощайте, мама, — грустно произнес Всеволод, — я иду в солдаты. Что ж делать, все должны служить.

— Но ты подожди, пока вырастешь, — отвечала мать, еле сдерживая улыбку. — Ты ведь еще маленький.

— Нет, мама, я должен, — серьезно отвечал мальчик, и его большие красивые глаза от волнения наполнились слезами.

Но самый тяжелый момент наступил, когда Всеволод



В. М. Гаршин (справа в клетчатой блузе) с матерью, братом Евгением и двумя учениками Е. С. Гаршиной в Сольцах в 1867 г.
(С фотографии из собрания Е. М. Гаршина).

стал прощаться с няней. Простая женщина под впечатлением серьезности, с какой Всеволод прощался, вдруг стала голосить и оплакивать его, как настоящего новобранца. Причитания няни окончательно расстроили мальчика, и он тоже залился слезами.

Наконец, вняв общим уговорам, Всеволод согласился отложить поход на завтра. А утром он уже забыл о своих намерениях.

Через две недели вся история началась сначала, и мать Всеволода вынуждена была строго-настрого запретить прислуге поддерживать в ребенке столь «геройский» дух.

В детстве Гаршин был на редкость красивым мальчиком, с огромными карими глазами, оттененными длинными шелковистыми ресницами. Красота ребенка была такой яркой, что вызывала восторг у окружающих. Психика его уже тогда отличалась необычайной утонченностью и впечатлительностью.

Ему было около пяти лет, когда на него свалилось большое горе, смысл которого Всеволод тогда не мог как следует понять, хотя переживал его глубоко и болезненно.

В семье Гаршиных произошли события, которые для детского сердца оказались трагичными.

Представим себе обстановку захолустного провинциального русского городка середины прошлого столетия. Гнетущий своим однообразием быт небогатой помещичьей семьи, скука, грубость, пьянство, картежная игра, сплетни... И вот в этой среде появляется молодой домашний учитель П. Завадский, участник харьковского революционного кружка Бекмана и Муравского.

Горячие речи молодого человека, обаяние революционера, весь его облик, столь отличный от окружающих тупых и скучных людей, произвели огромное впечатление на мать Всеволода. Екатерина Степановна полюбила молодого учителя. Чувство захватило ее настолько сильно, что она решилась бежать с возлюбленным из дома.

Нетрудно представить себе, какое тяжелое впечатление произвел на нежную душу Всеволода неожиданный уход матери, которую он очень любил.

Бегство замужней женщины с учителем вызвало шумный скандал в местном помещичьем обществе. Отец Гаршина пришел в неописуемую ярость и написал харьковскому жандармскому управлению о бегстве его жены с политически неблагонадежным человеком.

Заявление Гаршина послужило основанием для обыска у учителя Завадского и дало возможность полиции обнаружить и арестовать весь революционный кружок. Завадский был заключен в Петропавловскую крепость и через пять месяцев выслан в Олонецкую губернию. Мать Гаршина также несколько раз подвергалась обыскам и долгое время находилась как политически неблагонадежная под надзором полиции.

«Некоторые сцены, — пишет Гаршин в своих воспоминаниях об этом периоде его жизни, — оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере. Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило свое начало в эту эпоху».

Пятый год жизни Гаршина был очень бурным. Мальчика возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда назад в Харьков и Старобельск — на почтовых зимой, летом и осенью.

Старшие братья Гаршина уехали в Петербург с матерью, Всеволод же остался с отцом в деревне.

Маленький Гаршин с увлечением отдался чтению книг. За три года жизни с отцом, кроме детских книг, из которых Гаршин особенно полюбил «Мир божий» Разина, он перечитал все, что попадалось ему в «Современнике», «Времени» и других журналах за несколько лет.

В семь лет он прочел «Собор Парижской богоматери» Гюго, «Что делать» Чернышевского, «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу. Мальчик полюбил Пушкина, Гоголя, Жуков-

ского и Лермонтова. «Героя нашего времени» он, правда, еще не понимал, но над судьбой Бэлы горько плакал.

В автобиографическом рассказе «Ночь» Гаршин, описывая детство героя, так изображает своего отца:

«Он был несчастный человек, твой отец, и любил тебя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он за счетами, ты — за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с нее нагар. Это было твоей обязанностью, и ты так важно исправлял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой «хозяйственной» книги и со своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя. Ваши глаза встречались.

— Я, папа, вот уже сколько прочитал, —говорил ты и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами.

— Читай, читай, дружок! — одобрял отец и снова погружался в счеты.

Он позволял тебе читать все, потому что только доброе осядет в душе милого мальчика, и ты читал, и читал, ничего не понимая в рассуждениях, и ярко, хотя по-своему, по-детски, воспринимал образы...»

Отец учил Всеволода арифметике и религии. Рассказывая как-то о Христе, он упомянул о евангельском завете: «и кто ударил тебя в правую щеку, обрати ему и другую». В этом месте ребенок перебил отца: «Папа, помнишь, дядя Дмитрий Иванович ударил мужика Фому в лицо, а Фома стоит. Тогда дядя Дмитрий Иванович его с другой стороны ударил. Фома все стоит. Мне его стало жалко, и я заплакал».

Так христианское учение и евангельские заветы ассоциировались в детском уме с варварским бытом помещичьего мордобоя.

В 1863 году, когда Всеволоду исполнилось восемь лет, мать увезла его в Петербург. От Старобельска до Москвы Всеволод ехал на перекладных, а от Москвы, впервые в

жизни, по железной дороге. Петербург понравился мальчику; особенно большое впечатление произвела на него Нева.

Через год Гаршин поступил в первый класс Петербургской 7-й гимназии. О гимназических годах Гаршина известно немного. Учился он довольно плохо. Хорошие отметки получал только за сочинения на литературные темы и по естественным наукам. Он много читал, был любознателен и значительно более развит и начитан, чем его сверстники.

На уроках мальчик большей частью скучал. Чинуши-преподаватели, вдалбливавшие в головы юных учеников сухую гимназическую премудрость, не вызывали симпатий Всеволода. Были, впрочем, некоторые исключения. Гаршин впоследствии с благодарностью вспоминал доброго и отзывчивого директора гимназии Эвальда, учителя словесности Геннинга и преподавателя естественной истории Федорова. Особенно он любил Федорова; это был увлекательный рассказчик, прекрасный педагог и хороший человек. Ему Гаршин, несомненно, обязан той любовью к естественным наукам, которую он сохранил на всю жизнь.

По вечерам на квартире Гаршиных собирались гости. Шли нескончаемые споры на литературные и житейские темы. Екатерина Степановна хорошо знала русскую литературу, писала занимательные письма, переводила с французского. Всегда оживленная, главная участница всех споров, она была вдохновительницей маленького либерально-интеллигентского кружка, группировавшегося вокруг нее.

Мальчик жадно вслушивался в горячие споры взрослых, но больше всего интересовался разговорами на темы из различных областей техники и естествознания.

У него был и свой маленький мирок, который заключался в книжках, рисунках, небольших естественно-исторических коллекциях.

Летом Всеволод уезжал на каникулы в провинцию. Здесь он целыми днями пропадал в лесу, в поле, на реке, посто-

янно возился с лягушками, ящерицами и жуками, собирал гербарий. Он проявлял огромный интерес к окружающей природе, к растениям, животным и цветам. Однажды мальчик вскрыл лягушку, рассмотрел ее внутренности, а затем, растрогавшись ее жалким видом, аккуратно зашил ей брюхо, обвязал рану тоненьким бинтиком и пустил свою пленницу обратно в болото.

Все, знавшие Гаршина в этот период, отмечают его скромность, начитанность, уживчивость и мягкий характер. Мальчик умел живо схватывать сущность вопроса, делать оригинальные выводы и обобщения, быстро и легко находить доводы и аргументы в подкрепление своих взглядов. Он все больше внимания уделял естественным наукам, занимаясь ими с увлечением.

Однако этот с виду жизнерадостный мальчик таил в душе своей большую незаживающую рану. Семейная трагедия оставила на нем неизгладимый след. Отец и мать ненавидели друг друга, и юное сердце разрывалось от жалости к отцу и любви к матери. Мальчик вынужден был лгать и притворяться. Он уверял мать в своем равнодушии к отцу, а отца — в своей холодности к матери.

Друг семьи — Рейнгард, бывший у них в Петербурге в 1867 году, отмечает в своих воспоминаниях:

«...Больше всего меня поражала в Всеволоде Михайловиче одна, чисто внешняя особенность, выражавшаяся по временам в глубоко меланхолическом взгляде. Когда он говорил — особенно о предмете, который сильно интересовал его, — то взор его оживлялся, глаза горели тем огнем, который свидетельствует о внутренней работе, об энергии. Но когда беседа прекращалась и наступало всеобщее молчание, то взор Всеволода Михайловича делался вдруг необыкновенно задумчивым, взгляд приобретал отпечаток тихой меланхолии, с выражением кротости, доброты. Подобный взгляд мне приходилось встречать у людей, чрезвычайно несчастных, но никогда не жаловавшихся на свою



В. М. Гаршин-гимназист.

судьбу, в особенности у женщин, которым довольно часто выходит удел нести тяжелый крест жизни. У маленького Всеволода, мне казалось, появлялся иногда именно меланхолический, задумчивый взгляд женщины, безропотно переносящей судьбу свою...»

Через три года мать Гаршина переехала в Харьков, а мальчик остался в Петербурге. Одно время он жил со своими старшими братьями в отдельной квартире, затем в гимназическом пансионе, а спустя год поселился в семье своего товарища Афанасьева.

Все это время Всеволоду жилось плохо, бедно, голодно. Особенно тяжело приходилось в казенном пансионе при гимназии. У Афанасьевых было грязновато, но здесь хоть кормили досыта.

Мать Всеволода жила в Харькове частными уроками и давала домашние обеды. Обстановка в доме была очень бедная, почти нищенская. Для того чтобы посылать Всеволоду в Петербург хоть немного денег, ей приходилось урывать последние крохи.

Гаршин знал об этом и в своих письмах, полных любви и нежности, горячо ее благодарил, уверяя, будто деньги ему не так уж нужны, и просил, чтобы она не лишала себя последнего. Отец же, который должен был высылать Всеволоду деньги на содержание и учение, делал это крайне неаккуратно, и мальчик находился под постоянной угрозой исключения из школы за невзнос платы за учение. Были случаи, когда и семейство Афанасьевых подолгу не получало денег за содержание Гаршина; Всеволод переживал острые муки, видя, что на него косятся, считая его даровым нахлебником.

Примерно с четвертого класса Гаршин начал сотрудничать в гимназических изданиях, чаще всего в регулярно выходившей «Вечерней газете». Он написал несколько фельетонов и стихотворений — за подписью «Агасфер» — на различные темы из гимназической жизни. Однажды,

под влиянием «Илиады» Гомера, он сочинил пародийную поэму в несколько сот стихов гекзаметром, воспевая в ней гимназический быт.

Вместе с несколькими товарищами Всеволод организовал общество по составлению библиотеки. Мальчики откладывали свои сбережения, продавали букинистам старые учебники, иногда голодали, экономя деньги на завтраках, а все вырученные суммы пускали на приобретение старых книг и журналов. Они научились даже переплетать книги и оборудовали нечто вроде переплетной мастерской.

В гимназии Гаршин провел десять лет, из которых два года проболел и один раз оставался в классе на повторный курс. В эти годы, по существу, складывались характер будущего писателя, его отношение к жизни, его мировоззрение.

Дворянин по происхождению, разночинец по положению, этот полунищий юноша-интеллигент был, как и большинство учащейся молодежи того времени, преисполнен ненависти к существующему порядку вещей, с его торжеством богатства и грубой силы над бедностью и слабостью.

В конце шестидесятых и начале семидесятых годов начала формироваться в России идеология, которая затем получила название «народничества».

Народники усвоили и развили лишь слабые стороны великих русских просветителей, социалистов-утопистов сороковых-шестидесятых годов. Своими ошибочными, вредными взглядами и действиями народники тормозили развитие революционной инициативы и активность рабочего класса и крестьянства.

В отличие от просветителей шестидесятых годов, возлагавших известные надежды на прогресс, рост промышленности и просвещения, народники идеализировали отсталый экономический строй России и придавали особое значение крестьянской общине, считая ее зародышем и базой социализма.

Они страшились нарождения капитализма в стране, счи-

тая капитализм страшным бедствием для русского народа, упадком, регрессом. Они мечтали спасти народ от «язвы пролетариатства» и утверждали, что Россия может вовсе избегнуть капиталистической стадии развития. Роль «критически мыслящих личностей» всячески превозносилась народниками. «По их мнению, историю делают не классы и не борьба классов, а лишь отдельные выдающиеся личности — «герои», за которыми слепо идут масса, «толпа», народ, классы»[1].

«Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа — пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения «задержать» и «остановить» это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д.»[2].

В коридорах университетов, в студенческих комнатушках, в квартирах интеллигенции шли длинные споры, в которых без конца склонялось слово «народ». Под этим словом народники понимали исключительно крестьянство. Они упорно не хотели видеть победного шествия капитализма в России, закрывая глаза на быстрый рост фабрик и заводов, строительство железных дорог и растущую с каждым днем армию рабочих.

«Народники утверждали, что капитализм в России представляет «случайное» явление, что он не будет развиваться в России, следовательно, не будет расти и развиваться и пролетариат»[3].

Они «ошибочно считали, что главной революционной си-

---

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938 г., стр. 14.

[2] В. И. Ленин, Соч., т. II, стр. 342.

[3] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938 г., стр. 13.

лой является не рабочий класс, а крестьянство, что власть царя и помещиков можно свергнуть путем одних лишь крестьянских «бунтов» [1].

Арест Чернышевского, Писарева и других вдохновителей демократического движения шестидесятых годов, разгул правительственной реакции вызвали усиленную диференциацию в среде интеллигенции. Либеральное общество, пытавшееся вначале участвовать в общем подъеме, теперь, испуганное ростом революционных настроений, готово было пойти на соглашение с правительством. Либеральная буржуазия проявила себя верной союзницей монархии. Она не только оправдывала действия правительства, но высказывала свои верноподданнические чувства как только могла.

Гаршин учился в гимназии как раз в ту пору, когда царское правительство, окрепнув, стало постепенно расправляться уже и с либералами. Владимир Ильич Ленин в своей замечательной статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» так пишет о либералах этого периода: «Вместо того, чтобы подняться на защиту преследуемых правительством коноводов демократического движения, они фарисейски умывали руки и оправдывали правительство. И они понесли справедливое наказание за эту предательскую политику широковещательного краснобайства и позорной дряблости. Расправившись с людьми, способными не только болтать, но и бороться за свободу, правительство почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты «с разрешения начальства» [2].

В гимназические годы Гаршин встречался с представителями революционного движения. Два лета подряд он провел у друга своей матери, революционера П. Завадского,

---

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938 г., стр. 12.

[2] В. И. Ленин, Соч., т. IV, стр. 131.

сосланного в тот период в Петрозаводск. Влияние Завадского и людей, его окружавших, на юношу несомненно. В Петербурге Гаршин часто бывал в доме знакомой его матери, видной деятельницы революционного движения, Александры Григорьевны Маркеловой, где собирались представители радикально-революционной интеллигенции. Он встречался там со многими людьми, в частности с приятельницей матери Екатериной Александровной Макуловой, имевшей на него и на некоторых его товарищей значительное влияние. «Маркелова очень дружелюбно меня принимает. Какая добрая! — сообщает Гаршин матери. — У нее вижу часто Макулову; все такая же, ни капли не изменилась. Представьте себе, ее знают некоторые из наших гимназистов: она и между ними пропагандировала...»

Ни в какую революционную организацию Гаршин не входил, но он остро сознавал необходимость борьбы с социальной несправедливостью. Современную ему революционную литературу он читал с жадностью. Среди его любимых книг были произведения Белинского, Чернышевского, Писарева и других. Но интересы молодого Гаршина не ограничивались одной Россией; он стремился познакомиться и с революционным движением на Западе.

Любимым журналом молодого Гаршина, как и большинства демократической интеллигенции, были «Отечественные записки». Яркие, смелые, полные ненависти к самодержавию стихи Некрасова, бичующие рассказы Салтыкова-Щедрина, острые фельетоны Елисеева делали журнал этот популярным среди демократических читателей.

Гаршин читал очень много. После зимних каникул он пишет матери в январе 1872 года: «...Об учении моем не пишу ничего, потому что классы у нас только начались (7-го). Читал на праздниках много; теперь читаю «Азбуку социальных наук» Флеровского. Прелесть что такое! На праздниках читал романы: «Вперед» Шпильгагена, «Шаг за шагом» Омулевского, «Большую медведицу» да «Живую душу»...

Мать Гаршина вскоре начала высказывать опасения, что сын примкнет к какой-либо революционной организации и по неопытности попадет в лапы жандармов. В письмах своих из Харькова она пытается узнать о его настроениях и предостеречь юношу от дружбы с людьми, которые могли бы вовлечь его в революционную организацию.

Однажды Гаршин проговорился в письме к матери, что прочел томик Лассаля, составленный из речей к германским рабочим. Встревоженная мать потребовала, чтобы он прекратил знакомство с Маркеловой и ее кружком, решив, повидимому, что именно в этом кружке сын ее получает революционную литературу. Она писала Всеволоду, что он должен «выкинуть из головы мысль о перестройке современного общества» и прекратить чтение революционных книг.

Однако Екатерина Степановна понимала, что запретить сыну читать революционную литературу она не в состоянии. Поэтому она пыталась повлиять на него доводами иного порядка. Она уверяет, что ему не следует читать Лассаля, потому что он якобы ничего не поймет, что чтение подобных книг отвлекает его от занятий, поэтому он и получает плохие отметки. Маркелова и ее друзья — чуждые ему люди, они могут втянуть его в революционную организацию, и тогда он погиб, его арестуют. Гаршин почтительно, но твердо отверг все требования матери.

«Вы пишете о Лассале, — отвечает он, — говоря, что мне рано читать его, что я его не пойму. Том сочинений Ф. Лассаля, который у нас есть в русском переводе, почти весь составлен из речей к германским рабочим. Неужели Владимир Федорович Эвальд столь неспособный директор, что ученик шестого класса его гимназии не может понимать того, что говорилось хотя и немецкому, но все-таки фабричному рабочему? Что же значат Ваши слова: «Выкинь из головы мысль о перестройке современного общества» — я никак не могу понять. Может, Вы думаете, что Маркелова желает впутать меня в ужасный заговор?..»

Он доказывает матери, что опасения ее преувеличены, что влияние Маркеловой и ее кружка уж не так-то велико, что у него свои собственные взгляды на политические вопросы и что чтение книг нисколько не отразится на его отметках.

Между тем о воздействии революционных идей на миросозерцание юноши Гаршина можно судить по маленькому, но чрезвычайно характерному эпизоду. Однажды Гаршин получил за казенный счет пятирублевое место на какую-то церемонию, посвященную памяти Петра I. В письме к матери у него прорываются по этому поводу такие строки: «Как глупо, как вяло все вышло! Мне было ужасно грустно в этот день. Мы (гимназисты, чиновники, купцы, вообще «чистый» народ) сидим на пятирублевых местах, а позади народ толпится, ему ничего не видно, ему, которому и принадлежит право смотреть на праздник, его городовые колотят; долго ли все это будет? Праздник был совершенно поповско-солдатский и царский тоже, разумеется...»

Один из гимназических товарищей писателя рассказывает, что уже в школьные годы «с уст его срывались замечания о том, что необходимо бороться с социальным злом, и высказывались подчас очень странные взгляды, как устроить счастье всего человечества».

В старших классах гимназии Гаршин пристрастился к литературным занятиям. Его уже не удовлетворял гимназический журнал. Он много писал, уничтожал написанное, а затем снова писал. От литературных работ этих лет уцелела лишь одна под заглавием «Смерть». Уже в этом юношеском произведении видны основные черты творчества Гаршина: простота и лаконичность языка, реализм в изображении людей и событий и глубокая грусть, сказывающаяся даже на выборе тем. Приведем это сочинение как любопытный документ начала формирования мироощущения будущего писателя Всеволода Гаршина.

СМЕРТЬ

«Я прочитал «Смерть» Тургенева и не могу не согласиться с ним, что русский человек умирает удивительно. Другого слова и не подберешь. Припомните смерть Максима, обгоревшего мельника, Авенира Сорокоумова — как они умирали: тихо, спокойно, как будто исполняя свою непременную обязанность. И разве это не обязанность?

Помню и я смерть близкого мне, дорогого человека, Е. Ф. Ф. Часто, бывало, сажал он меня в своей комнате и заставлял слушать докучные рассказы о том, откуда происходит слово серьга (не помню уже — откуда, кажется, с языка фризов или бетов), что ни одному филологу доподлинно не известно происхождение слова хорошо. Был он человек маленький, крайне некрасивый, с таким же земляным цветом лица, какой был у Авенира Сорокоумова. Был он записным филологом; писал диссертацию на магистра, ездил и к Костомарову и к Срезневскому, которые признавали в нем глубоко ученого языковеда. Умер Е. Ф. — и вся его ученость канула в Лету. Но не в том дело; я взялся описывать его смерть.

Е. Ф. страдал болезнью, погубившею много добрых и умных, сильных и слабых людей. Он страшно пил. Когда я жил вместе с ним на даче в 1866 году, однажды он попросил у меня пучок соломы; я принес. Е. Ф. молча перерезал ее на трубочки вершка по три и спрятал в стол. Скоро я узнал, для какого страшного употребления предназначаются эти трубочки: он тянул через них вино. Конечно, я утащил несчастную солому и забросил ее в реку.

Это было летом 1866 года, когда в Петербурге и по его окрестностям страшно свирепствовала холера. Соломинки помогли ей убить Е. Ф. Он заболел, наш доктор И. П. Б. вылечил его от холеры, но не спас от воспаления в кишках и печени. Через месяц после начала болезни Е. Ф. пришлось очень плохо.

Он умер в сентябре, в дождливый вечер. Он лежал на постели; его густые волосы падали на липкий, зеленоватый лоб, покрытый каплями пота. Тело исхудало страшно, на ребрах осталась одна кожа; на ногах и спине были пролежни. На столике перед ним горели две лампы (он уже жаловался на недостаток света), стояли лекарства, лежали его любимые немецкие книжки да тетрадь с диссертацией. Я сидел в углу комнаты и смотрел на сцену с лихорадочным нетерпением. Как ни любил я моего Е. Ф., как ни был привязан к нему, но, зная, что через четверть часа он умрет, я уже не жалел о нем. Это не была холодность или равнодушие: я уже отпел и похоронил своего больного друга; передо мной лежал просто умирающий человек, а я видел смерть еще в первый раз. Над больным склонился его другой друг, бывший товарищ. Далеко уже теперь он, за Атлантическим океаном, но как теперь помню его бледное, страдающее за больного лицо. Все мои воспоминания об этом человеке касаются только смерти Е. Ф.

Больной лежал почти неподвижно, только губы шептали что-то, изредка произнося слова. Его друг уговаривал его причаститься. Е. Ф. жил атеистом и хотел умереть так, как жил. Послали за священником; он пришел. Это был высокий худощавый человек в широкой рясе, со строгим худым греческим профилем и симпатичным лицом. Он наклонился над кроватью; Е. Ф. отрицательно покачал головой. «Не надо», тихо произнес он. «Уже пора бы», сказал священник. Друг бросился уговаривать больного, говоря, что через четверть часа он умрет. Е. Ф. серьезно слушал сначала, потом на лице его появилась широкая добродушная улыбка. «Какой ты странный, Лева! Всю жизнь был умным человеком, а теперь глупости говоришь. Ну, умру, — ну, что же такое? Пора и на покой; жаль только — диссертацию не кончу». Все это он говорил шопотом; последние слова были слышны только Леве и мне (я подошел к кровати). «Дописал бы ты ее... ох, да ведь ты математик», —

как бы вспомнил он. Он замолчал; наступила долгая, томительная тишина.

Священник начал исповедывать. «Уйдите, батюшка, пожалуйста; Лева, попроси батюшку уйти». «Да причастись ты, бога ради, отца-то успокой!» Е. Ф. не отвечал, наконец, он выговорил уже с трудом: «Дайте свечку, темно... уже пора зажигать». Подали свечей. Вдруг больной оживился, поднялся даже, схватил Леву за руку и сказал ему: «А если reine Glaube?..» Он не кончил и упал мертвый на подушку. Я заплакал. Лева зарыдал, как ребенок... Священник как-то странно смутился и поспешно стал снимать с себя епитрахиль. На лице мертвого осталось странное выражение; ни испуга, ни боли душевной, ничего в нем не было: оно было спокойно.

. . . . и странен
Был томный лик его чела.

Его похоронили на Волковом кладбище. Отцу написали, что сын умер, как христианин. На могиле поставили маленький памятник, окруженный другими, под которыми лежат люди, умершие таким же странным образом, как Е. Ф. Так же умерли и тургеневские Максим, мельник, Авенир, старушка-помещица. Ни бравурства, ни горести, ни страха не увидите вы на лице умирающего русского человека: в последнюю минуту жизни он будет заботиться о своих делах, о какой-нибудь корове, о том, чтобы заплатить священнику за свою отходную. Верующий был человек — он точно обряд над собой совершит; неверующий умрет в большинстве случаев без сознательного раскаянья, не отступив от того, за что он стоял перед самим собой всю жизнь, что досталось ему после тяжелой борьбы».

В 1872 году у Гаршина впервые начинают проявляться симптомы душевной болезни, окрасившие в столь мрачные тона грустную биографию писателя. Возросшая раздражи-

тельность юноши обратила на себя внимание окружающих. Показалось странным также, что он превратил квартиру старшего брата Виктора в лабораторию, где с увлечением занялся химией, гальванопластикой, производил непонятные опыты. Этой своей работе он в разговорах с окружающими придавал иногда какое-то мистическое значение и пытался увлечь своими опытами товарищей.

Педагоги и приятели Гаршина по гимназии также стали замечать его все растущую нервозность. Однако одинокий юноша не встретил участия и заботы. Наоборот, болезненное состояние Гаршина давало некоторым преподавателям лишь повод для издевательств над ним. Особенно неистовствовал поп. Он, например, вызывал Гаршина и допрашивал его по «закону божьему» в течение всего урока, около часа, что считалось в гимназии неслыханным делом. Поп намеренно задавал юноше нелепые вопросы и придирался к нему по всякому поводу. Чем больше юноша возмущался и раздражался, тем веселее и наглее становился поп.

— От какого греха очищает нас крещение? — важно спрашивал «преподаватель».

— От первородного, — отвечал Гаршин.

— От какого? Первородного? А что такое грех? Как вы смотрите на первородный грех? — И так далее до бесконечности.

На каждый ответ Гаршина поп лишь злорадно усмехался. «Ничего вы не понимаете! — восклицал он. — Это все неправильно, это все не так». У Гаршина от злости тряслась нижняя губа. Поп чувствовал, что назревает скандал, а этого он только и хотел. Лишь звонок, возвещавший окончание урока, освобождал Гаршина от поповского издевательства.

Однажды поп просто пустился на провокацию. Он задал Гаршину вопрос о «первом христианском обществе», а затем с ехидной улыбкой обратился к нему: «А что, господин Гаршин, скажите мне, это очень на социализм похо-

же?» Гаршин понял маневр попа и отговорился незнанием, — иначе не миновать бы ему карцера.

Неудивительно, что в такой обстановке болезнь юноши прогрессировала. Окружающие вынуждены были поместить его в больницу. Первое время Гаршин вел себя спокойно и пользовался полной свободой. Он перевез в больницу свои книги, инструменты, принялся, чтобы не терять времени, изучать английский язык. Но вскоре его состояние ухудшилось настолько, что к нему перестали пускать родных. В моменты просветления Всеволод вспоминал свои поступки, совершенные во время безумия, страдал, и болезнь вновь обострялась. Когда он стал поправляться, его перевезли в частную лечебницу доктора Фрея. Здесь Гаршина окружили заботливым уходом, и через несколько месяцев, к середине 1873 года, он почувствовал себя здоровым.

Летом Гаршин уехал в Старобельск. После шумного Петербурга он окунулся в скучную жизнь маленького провинциального городка. Он много гулял в поле, в лесу, много купался. Но его тяготило вынужденное безделье. Раздражение и тоска, усиленные скукой и однообразием окружающей обстановки, вновь охватили его.

Однажды спокойное течение провинциальной жизни было нарушено сенсационным происшествием: из местной тюрьмы бежали три арестанта. За ними послали тридцать солдат, которые настигли их в семи верстах от города. В бессмысленной злобе солдаты избили арестантов досмерти. Это жестокое отношение к беззащитным людям взволновало Гаршина и еще более ухудшило его и без того подавленное настроение. Очень повлияло на Гаршина известие, что зимой, когда он находился в лечебнице, здесь, в городке, покончил самоубийством его старший брат Виктор. По этому поводу Всеволод написал своему товарищу по гимназии Налимову: «Благую часть избрал. Прямо в сердце, не мучился нисколько. Сегодня хочу на кладбище сходить посмотреть его могилу

(похоронили по-христиански). Теперь я обретаюсь в крайнем унынии; да это пройдет, может быть, нелегкая вывезет. А теперь скверно...»

Осенью Гаршин возвратился в Петербург для продолжения учения. С отвращением переступил он порог опостылевшей гимназии.

Последние годы он учился на казенный счет и жил в гимназическом пансионе. Обстановка в пансионе была сплошным надругательством над юношами, вынужденными по бедности воспользоваться этой горькой «милостью» начальства.

В Харькове подрос младший брат Евгений. Мать хотела устроить и этого мальчика в казенный пансион. «Пусть не пробует этой гадости, — пишет Всеволод матери. — Теперь в особенности завели строгость такую дурацкую, что пансион гораздо больше похож на тюрьму, чем наша старобельская «высидка»...»

Царская гимназия безжалостно калечила юношеские мозги, давила и унижала человеческое достоинство. Как-то раз произошел такой случай. Один из школьных товарищей Гаршина, ученик пятого класса Вукотич, никак не мог постичь премудрости тригонометрии, вбиваемой ему в голову тупым и бездарным педагогом Гришиным. Чиновник-учитель избрал этого ученика мишенью для своих острот. Он издевался над ним ежедневно, и несчастный мальчик не выдержал. Однажды он ушел из дому и оставил записку, что решил утопиться. За мальчиком разослали людей и вскоре его нашли: несчастный помешался. В бреду он повторял без конца уроки из тригонометрии и умолял жестокого учителя пожалеть его.

Случай с Вукотичем взволновал всю гимназию.

«Это — глупая, грубая тварь,— писал Гаршин о Гришине, — не понимающая, что оскорбление в десять раз больнее отзывается на детской душе, чем на душе взрослого человека. Он принял свой метод воспитания: всех неучащихся (не разбирая лентяев и неспособных) преследует остро-

тами, шуточками, даже просто голыми бранными словами. Вукотич оказался впечатлительней других...»

Теперь Гаршина упорно занимала мысль о своей будущности, о том, что делать по окончании гимназии. Как мало знаний получил он здесь. «Иногда посмотришь,—с горечью писал Всеволод матери, — много ли тебе дало семилетнее учение в гимназии, видишь ясно, что оно не дало ничего, хотя ты и получал отметки удовлетворительные, хорошие и отличные, хотя и переходил из класса в класс. И не я один такой, все таковы. Разница только в частностях...»

Одно время Гаршин носился с мыслью уехать в Гейдельберг, Геттинген, в какой-нибудь немецкий университет и прослушать курс естественных наук. Но у него не было денег, и мысль о загранице пришлось оставить. Гаршин хотел пойти на медицинский факультет, но так как гимназия в последний год его пребывания там превратилась в реальное училище, а специальным приказом министерства народного просвещения реалистов запрещено было принимать в университет, Гаршину не оставалось другого выбора, как итти в какое-нибудь техническое учебное заведение. После некоторых колебаний он выбрал Горный институт.

ГАРШИН-СТУДЕНТ

Гаршин поступил в Горный институт осенью 1874 года. Как раз в это время среди народнической интеллигенции начиналось знаменитое «хождение в народ». Лучшие представители русского образованного общества, революционно настроенной молодежи пытались найти живую связь с тем народом, за который они готовы были итти на всевозможные жертвы и лишения, но которого, по существу, не знали и не понимали.

Весной 1874 года молодежь начала деятельно готовиться к походу. Студенты спрашивали друг друга при встречах, кто куда едет, намечали подходящие места, составля-

ли маршруты. Трагикомичный вид имели эти пылкие юноши, одетые «под крестьян» в новенькие полушубки и картузы, мечтавшие, что деревня, зажженная их горячими речами, тут же подымется на борьбу за землю, за волю.

Как известно, «хождение в народ» кончилось крахом. Крестьянство не пошло ни за мирными пропагандистами, ни за бунтарями, призывавшими его к немедленному восстанию против царизма. Народники вынуждены были этот факт констатировать, но объяснить его не могли. Деревня оказывалась вовсе не такой, какой они ее себе представляли. Вопреки их учениям, в деревне шел неумолимый процесс расслоения крестьянства. Выделялся слой кулаков, одновременно огромные массы крестьян разорялись, и значительная часть их уходила в города, пополняя ряды рабочего класса. Крестьянская община, на которую так надеялись народники, не могла ни задержать, ни предотвратить процесса капиталистического развития России; в недрах самой общины появившиеся кулаки-«мироеды» эксплоатировали бедняков, батраков, маломощных, середняков.

Гаршин был свидетелем неудач «хождения в народ». Эти неудачи произвели на него, как и на большинство передовой интеллигенции, огромное впечатление. Он увидел, что народники не в состоянии организовать большое массовое движение против самодержавия, что крестьянство за ними не пойдет. Повидимому, появившееся у Гаршина неверие в победу народников и народовольцев, скептическое отношение к ним и попытки в дальнейшем самостоятельно проанализировать основные положения народничества имели своим основанием разочарования этих лет.

Правительство ответило на «хождение в народ» неслыханными массовыми арестами, вызвавшими еще большее недовольство передовой интеллигенции, в особенности учащейся молодежи.

Осенью 1874 года почти все высшие учебные заведения были охвачены революционным брожением.

В Горном институте также вспыхнули волнения. Ректор института грубо оскорбил одного студента, исключенного за невзнос учебной платы. Студенты собрали сходку и потребовали от начальства отсрочить взнос денег для бедных студентов и дать возможность слушателям следить за раздачей стипендий, которые распределялись произвольно. В момент, когда студенты на сходке разрабатывали свои требования, в институт приехал министр Валуев. По его распоряжению из трехсот восьмидесяти студентов, учившихся в институте, свыше двухсот человек были исключены. Те, которые не имели в Петербурге отца или матери, подлежали высылке на родину с жандармами. Свирепое начальство без разбора хватало и отправляло по этапу и больных и здоровых, виновных и невиновных. В числе схваченных встречались студенты, которых даже не было в эти дни в институте.

Гаршин возмущался лицемерием и трусостью буржуазных либералов, пытавшихся найти оправдание для правительства и сваливавших вину на революционеров, не менее, чем жестокостью властей. Он видел, как за справедливое требование двести человек были схвачены ночью, точно преступники, посажены в пересыльную тюрьму и разосланы во все концы России. «Когда я говорю об этом, — писал он матери, — я не могу удержаться от злобных судорожных рыданий».

Университетское начальство объявило, что те студенты, которые подадут заявления с просьбой об обратном приеме, будут оставлены без наказания. Исключенным предложено было подписать унизительное, безграмотно составленное прошение о возвращении в институт. Начальство хотело выделить из общей массы наиболее революционно настроенных студентов, правильно рассчитав, что они не подпишут прошения. Но и подписавшие прошение, конечно, были обмануты и высланы по этапу. «У них сила, — гневно восклицает Гаршин по адресу царских сатрапов, — но они и подлостью не брезгают!»

В другом письме к матери он писал: «Глупость молодежи бледнеет перед колоссальной глупостью и подлостью старцев, убеленных сединами, перед буржуазной подлостью общества, которое говорит: «Что ж, сами виноваты! За тридцать рублей в год слушают лучших профессоров, им благодеяния делают, а они еще «бунтуют». Таково мнение Петербурга о последних историях...»

Гаршин с болью думал о дальнейших путях борьбы. Он видел, что часть революционно настроенной интеллигенции переходит на сторону правительства, стараясь приспособиться к существующему строю, другая часть уходит в террористическую борьбу с самодержавием, не принося, однако, никакой пользы народу, а большинство остается в нерешительности. И отчаяние охватывало молодого студента. Куда приложить свои силы, свою молодую энергию, жажду борьбы с миром зла и насилия?

Своими думами он делится с матерью: «...С одной стороны — власть, хватающая и ссылающая, смотрящая на тебя, как на скотину, а не на человека, с другой — общество, занятое своими делами, относящееся с презрением, почти с ненавистью... Куда итти, что делать? Подлые ходят на задних лапках, глупые лезут гурьбой в нечаевцы и т. д. до Сибири, умные молчат и мучаются. Им хуже всех. Страдания извне и внутри. Скверно, дорогая моя мама, на душе...»

Гаршин продолжал посещать институт, но лекции казались ему сухими и мало интересными. Оставаясь наедине, он откладывал в сторону опостылевшие учебники и с жаром писал стихи и рассказы, не смея пока в этом кому-либо признаться, стыдясь своих первых ученических опытов. Несмотря на творческие противоречия, несмотря на непоследовательность и расплывчатость политических взглядов, уже в этих ранних произведениях Гаршин неизменно выявлял свои гуманистические, антибуржуазные, подлинно человеческие идеалы.

Гаршин жадно читал газеты, прислушивался к сообщениям из-за границы; оттуда также приходили тяжелые известия. После разгрома Парижской коммуны реакция побеждала почти во всей Европе.

«Неужели же зло и насилие восторжествуют во всем мире? Неужели царству угнетения не будет конца?» мучительно размышлял юный студент.

19 февраля, когда царское правительство праздновало очередную годовщину «освобождения крестьян», у Гаршина вырываются такие строки в письме к матери: «Сегодня 19 февраля, достопамятный день, показавший всю истину слов Лассаля, что конституции не делаются только на бумаге. Бумажное освобождение!

У меня самый мрачный взгляд на современное положение дел, мы, мне кажется, живем в ужаснейшее время. Карлос, Франция, Бисмарк, католицизм, решительно поднявший голову, избиение стачек рабочих в Англии, неизбежная, висящая, как гроза в воздухе, война, и какая война!..»

В голове теснятся гневные, горячие мысли. Иногда ему хочется излить свое настроение на бумаге. Он пишет стихи, но они кажутся ему бледными, немощными.

Нет, не дана мне власть над вами,
Вы, звуки милые поэзии святой;
Не должен я несмелыми руками
Касаться лиры золотой!—

горестно восклицает он в одном из стихотворений и продолжает:

Но если сердце злобой разгорится
И мстить захочет слабая рука —
Я не могу рассудку покориться,
Одолевает злобная тоска,

И я спешу в больных и буйных звуках
Всю желчь души истерзанной излить,
Чтоб хоть на миг один забыть о муках
И язвы сердца утолить.

Внешне Гаршин продолжал вести обычную жизнь студента: утром слушал лекции, днем давал уроки. Он занимался с мальчиком в семье дальнего своего родственника, отставного адмирала Пузино, и получал за это бесплатный обед. Хотя стоимость обеда была, пожалуй, меньше, чем можно было получить за урок, но Гаршин был доволен и этим. Бесплатные обеды давали ему возможность отказаться от нескольких рублей, посылаемых ему матерью.

Все свободное время Гаршин посвящал литературной работе. Он целые дни просиживал за письменным столом. Только здесь, за литературными занятиями, он испытывает чувство удовлетворения. В письме к А. Я. Герду Гаршин говорит по поводу своих литературных занятий: «Дело в том (это я чувствую), что только на этом поприще я буду работать изо всех сил, стало быть успех — вопрос в моих способностях и вопрос, имеющий для меня значение вопроса жизни и смерти...»

Однако Гаршин пока не собирался бросать институт: он прекрасно сознавал, что ему нужно еще многому учиться — гимназия дала ему слишком мало знаний.

Во время каникул Гаршин познакомился в Старобельске с молоденькой девушкой, Раисой Всеволодовной Александровой. Это была миловидная сентиментальная провинциальная барышня, хорошая музыкантша. Между молодыми людьми завязалась трогательная и нежная переписка. Они полюбили друг друга. Гаршин делился с девушкой своими настроениями и по секрету поведал ей о своих литературных планах. В то время он готовил для печати первый свой очерк «История Н-ского земского собрания», в котором сатирически описывал знакомую ему жизнь Старобельского уезда и рассказал о своем скептическом отношении к «освободительным» реформам самодержавия. На очерке сказалось влияние знаменитых «Исторических писем» Миртова (Лаврова); их Гаршин читал тогда вместе со своим товарищем Латкиным.



В. М. Гаршин.
(С фотографии 1876 г.)

Раз в неделю Гаршин с компанией студентов отправлялся в театр на дешевые места и с наслаждением слушал музыку или смотрел спектакль. Особенно на него действовала музыка. Она доводила его иногда до нервного исступления.

В этот период Гаршин сблизился с кружком молодых художников. Он стал рьяным посетителем «пятниц» — собраний художников, где шли горячие споры об искусстве и литературе. Уже тогда Гаршин высказывал вполне определенные взгляды на искусство, которым оставался верен всю жизнь. Он считал, что искусство не должно быть лишь предметом развлечения и любования кучки эстетов и знатоков,—оно должно служить высоким идеалам добра и справедливости. Он отвергал теорию «искусство для искусства» и требовал от искусства борьбы, действенной борьбы за лучшее будущее человечества.

Ближе всего по духу были для Гаршина художники-«передвижники», провозглашавшие устами своего крупнейшего представителя Крамского, что «художник есть критик общественных явлений».

Много шума произвела в 1874 году в Петербурге выставка картин известного художника Верещагина. На выставке были представлены знаменитые «Туркестанские этюды», отражающие жизнь недавно завоеванного русскими Туркестана. В картинах и этюдах были запечатлены и отдельные эпизоды войны в Средней Азии.

В толпе восхищенных зрителей, обсуждавших великолепную технику художника, яркость красок, экзотичность сюжетов, обращал на себя внимание красивый смуглый студент, подолгу останавливавшийся у картин с искаженным страданием лицом.

Под впечатлением выставки Гаршин набросал следующие строки:

Толпа мужчин, детей и дам нарядных
Теснится в комнатах парадных
И, шумно проходя, болтает меж собой:

«Ах, милая, постой!
Regarde, Lili,
Comme c'est joli!
Как это мило и реально,
Как нарисованы халаты натурально!»
«Какая техника,—толкует господин
С очками на носу и с знанием во взоре:—
Взгляните на песок: что стоит он один!
Действительно, пустыни море
Как будто солнцем залито,
И лица недурны!..» Не то
Увидел я, смотря на эту степь, на эти лица:
Я не увидел в них эффектного эскиза,
Увидел смерть, услышал вопль людей,
Измученных убийством, тьмой лишений...
Не люди то, а только тени
Отверженников родины своей.
Ты предала их, мать! В глухой степи—одни,
Без хлеба, без глотка воды гнилой,
Изранены врагами, все они
Готовы пасть, пожертвовать собой,
Готовы биться до последней капли крови
За родину, лишившую любви,
Пославшую на смерть своих сынов...
. . . .
Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомянутся чрез много лет,
В день грозных бед!

Этот отрывок интересен как материал для изучения мировоззрения писателя. В дальнейшем нам еще придется вернуться к взглядам Гаршина на искусство, породившим такой острый и яркий рассказ, как «Художники». В этом стихотворении мы проследим лишь отношение Гаршина к войне вообще, и это поможет нам понять то впечатление, которое произвела на него вспыхнувшая вскоре русско-турецкая война.

Для молодого Гаршина война — это прежде всего массовое убийство несчастных людей, посланных умирать за не-

известные им цели. Он еще не разбирается в грабительском характере этой колониальной войны, и внимание его занято не целью войны, а самим фактом бессмысленной смерти и страданий людей, посланных в степи «предавшей их родиной». Он чувствует и себя ответственным за страдания и смерть невинных людей и единственное спасение от невыносимых мук совести видит в том, чтобы самому разделить судьбу сынов народа, одетых в солдатские шинели.

Приближался 1876 год. Гаршин перешел на второй курс. Дни шли хмурые и однообразные. Политическое положение не улучшилось; реакция попрежнему тяжелой тучей висела над страной, и в очередное 19 февраля Гаршин в письме к Раисе Всеволодовне посвящает этой дате стихи, полные отчаяния:

Пятнадцать лет тому назад Россия
Торжествовала, радости полна,
Повсюду в скромных деревенских храмах
Моленья богу возносил народ;
Надежды наполняли наши души
И будущее виделось в сияньи
Свободы, правды, мира и труда.
Над родиной «свободы просвещенной»
Ты засияла, кроткая заря,
Исполнилось желание поэта[1],
Когда, народным горем удрученный,
Он спрашивал грядущее тоскливо,
Когда конец страданиям народа,
Придет иль нет освобожденья день?
Свершилось! Ржавые оковы с звоном
Упали на землю. Свободны руки!
Но раны трехсотлетние остались,
Натертые железом кандалов.
Изогнута спина безмерным гнетом,
Иссечена безжалостным кнутом,
Разбито сердце, голова в тумане

[1] Гаршин имеет в виду Пушкина.—*Н. Б.*

Невежества; работа из-под палки
Оставила тяжелые следы,
И, как больной опасною болезнью,
Стал тихо выздоравливать народ.
О, ранами покрытый богатырь!
Спеши, вставай, беда настанет скоро!
Она пришла! Бесстыдная толпа!
Не дремлет; скоро вьются сети,
Опутано израненное тело,
И прежние мученья начались!..

На следующий день он дописывает в письме: «Да, а ты сидишь тут и киснешь! Пописываешь дрянные стишонки, наполненные фразами, а чтобы сам что-нибудь сделать — ни шагу. Впрочем:

Когда науки трудный путь пройдется,
Когда в борьбе и жизни дух окрепнет,
Когда спокойным оком, беспристрастно
Я в состояньи буду наблюдать
Людей поступки, тайные их мысли
Читать начну своим духовным взором,
Когда пойму вполне ту тайну жизни,
Которой смутно чую бытие,—
Тогда возьму бесстрашною рукою
Перо и меч и изготовлюсь к бою.

В этом юношеском стихотворении раскрывается все богатство внутренней жизни молодого студента. Мысли, высказанные здесь, не случайны; они — плод долгих размышлений. Еще год назад Гаршин писал матери, что «конституции не делаются только на бумаге». и что «освобождение» крестьян — «бумажное освобождение». За год он много прочел и многое продумал. В институте он встречался с революционно настроенными студентами. В числе студенческих знакомых Гаршина был, между прочим, и Г. В. Плеханов, с которым Гаршин часто беседовал на политические и литературные темы. Правда, в то время Плеханов еще был народником; лишь позднее он порвал с народничеством и стал выдающимся пропагандистом марксизма.

Приведенное стихотворение показывает, что Гаршин трезво, умно и по-революционному оценивал действительный характер «освобождения» крестьян. Он отдает себе отчет, что с отменой крепостного права эксплоатация и ограбление крестьян не кончились, а приняли лишь другие, не менее мучительные формы.

Опутано израненное тело,
И прежние мученья начались...

ВОЙНА

Зловещее зарево войны поднялось над страной. Испуганное надвигающейся революцией, правительство Александра II искало выхода в эффективной внешней войне, в завоевании новых земель и рынков. Взоры русских помещиков и купцов уже давно были обращены на Ближний Восток, где Турция, раздираемая внутренними противоречиями, скрепленная лишь гнилым султанским режимом, сулила легкую добычу.

Турция была хорошо информирована о захватнических намерениях своего могучего северного соседа, и султанский режим трепетал перед жадным русским хищником.

На Балканах началась кровопролитная война. Восстало население принадлежащей Турции провинции Герцеговины. Это была национально-освободительная война герцеговинских крестьян против помещиков, состоявших большей частью из турок, а также против турецких властей, угнетавших народ. Восстание подавлялось турецкими властями со страшной жестокостью.

Восстание герцеговинцев поддержала Сербия и объявила войну Турции.

Царское правительство, стремясь утвердить свое влияние на Балканах, попыталось использовать борьбу сербов и герцеговинских крестьян, рассчитывая этим укрепить свое положение в предстоящей войне с Турцией. Поднялась

шумная кампания помощи «братьям-славянам». В Москве широкую деятельность развернуло «Славянское благотворительное общество». Устраивались концерты, сборы, производилась вербовка добровольцев.

Правительство Александра II вело двойную дипломатическую игру. Официально оно не только сохраняло нейтралитет, но даже предостерегало Сербию от войны с Турцией. В то же время во дворце наследника, будущего императора Александра III, заседал комитет по организации сербской армии. С благословения этого комитета в Сербию выехало в качестве инструкторов много гвардейских офицеров во главе с известным завоевателем Средней Азии генералом Черняевым.

Вместе с представителями реакционного офицерства, ехавшими на Балканы для утверждения русского господства, вместе с авантюристами, искателями наживы и приключений, вместе с разочарованными людьми типа Вронского (из романа Л. Толстого «Анна Каренина») на поля битвы устремился и другой поток добровольцев—из демократического лагеря. Эти люди, записываясь добровольцами в сербскую армию, думали защитить независимость маленькой страны от турецкого угнетения, принять участие в национально-освободительной войне.

Жадно прислушивался Гаршин к сообщениям с фронта военных действий о варварстве турок, о резне беззащитного населения. Все это наполняло его впечатлительную душу ужасом и негодованием. Наконец, он решил принять участие в войне, отдать свои силы, свой горячий энтузиазм угнетаемому народу в его борьбе за свободу.

Гаршин подает заявление о вступлении добровольцем в сербскую армию и хлопочет о разрешении на выезд. К своему огорчению, он не получил разрешения. Гаршин был призывного возраста, а царское правительство не выпускало призывных, зная, что скоро нужны будут солдаты для собственной войны.

«Зачем не могу я делать, что хочу, не могу быть там, где я сознавал бы, что приношу хоть каплю пользы хоть кровью своею? А что здесь?» горестно восклицает Гаршин в одном из писем.

Между тем газеты приносили все новые и новые сообщения об убитых и раненых. Гаршин весь во власти этих ужасов.

«...За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, — писал Гаршин своему приятелю Н. С. Дрентельну, — хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение химического и физического общества интересует меня гораздо меньше, чем то, что турки перерезали тридцать тысяч безоружных стариков, женщин и ребят. Плевать я хотел на все ваши общества, если они всякими научными теориями никогда не уменьшат вероятности совершения подобных вещей... Если бы ты знал, каково у меня бывает на душе, особенно со времени объявления войны. Если я не заболею это лето, то это будет чудо...»

Несмотря на полученный отказ, Гаршин продолжает настойчиво добиваться разрешения на выезд в Сербию; он настолько увлечен идеей помочь освобождению славян, что с возмущением реагирует на выступление зарубежного органа народников «Вперед», осуждавшего участие русской передовой молодежи в балканской войне.

«В рядах идущих в бой есть люди, — писал журнал, — которые, повидимому, искренне воображают, что у них есть некоторый план жизни, некоторый политический идеал и что они могут осуществить этот план, этот идеал в борьбе, которая кипит на Балканском полуострове. Этим следует разогнать свои иллюзии. Туда можно итти биться из-за какого-нибудь расчета, из-за невыносимой тоски и пустоты русской жизни, из желания подраться, но никакие политические идеалы там осуществлены быть не могут...»

Гаршин этой позиции никак понять не мог. Он упорно продолжал верить, что единственная цель войны — защи-

та женщин и детей от зверства турок и что участие в балканской войне не противоречит демократическим убеждениям, что все добровольцы, отправляющиеся на войну, полны лишь желания помочь сербскому народу.

Он сочиняет воинственные стихи и относит их в газету «Новое время», которая особенно шумно вела кампанию за оказание помощи «братьям-славянам».

Друзья, мы собрались перед разлукой;
Одни — на смерть идут,
Другие, с затаенной в сердце мукой,
Прощанья часа ждут.
Зачем печаль, зачем вы все угрюмы,
Зачем так провожать?..
Друзья, тоскливые гоните думы:
Вам не о чем вздыхать!
Мы не идем по прихоти владыки[1]
Страдать и умирать;
Свободны наши боевые клики,
Могуча наша рать,
И не числом солдат, коней, орудий,
Не знанием войны,
А тем, что в каждой честной русской груди
Завет родной страны!
Она на смерть за братьев нас послала,
Своих родных сынов,
И мы не стерпим, чтоб она сказала:
«Бежали от врагов!»...
. . . .

«Новое время» стихотворения не поместило. Для этой газеты оказалась неприемлемой строчка: «Мы не идем по прихоти владыки».

Гаршин, который так остро воспринимал сообщения о насилиях турок над славянами, конечно, не знал, как не знало и большинство русского народа, что царское правительство еще в 1873 году, то есть за три года до описываемых событий, окончательно решило напасть на Турцию и приняло ряд подготовительных мер.

[1] Разрядка наша—*Н. Б.*

Английское правительство не хотело усиления царской России на Ближнем Востоке и всячески этому препятствовало. В ответ на помощь России сербской армии английское правительство начало посылать инструкторов в турецкую армию и вооружало ее новейшей артиллерией и прекрасными винтовками. За спиной Турции и Сербии, по существу, началась борьба царской России и империалистической Англии.

Самодержавное правительство надеялось, что Англия на этот раз не рискнет повторить опыт Севастопольской кампании. В придворных кругах считали, что можно открыто готовиться к войне с Турцией.

Обстановка внутри страны благоприятствовала воинственным планам правительства. Война с Турцией сулила большие выгоды русской буржуазии и помещикам и потому всячески ими одобрялась.

Завоевательная политика царского правительства ловко прикрывалась «гуманными» и эффектными лозунгами освобождения славян, православных, единоверцев от «неверных басурман» — турок. Будущую захватническую войну пытались представить обществу как «освободительную».

Осень и зиму 1876 года Гаршин провел в усиленных занятиях литературой. Карьера горного инженера пугала его. Он представлял себе будущих горных инженеров либо в виде дельцов, загребающих деньги, либо в виде жалких приказчиков, помогающих наживать эти деньги какому-нибудь толстосуму-промышленнику. Гаршин мечтал стать писателем.

И вот весной 1877 года в журнале «Молва» появляется его первое произведение — «Подлинная история Н-ского земского собрания». Успех окрыляет его.

Той же весной в газете «Новости» были помещены три небольшие рецензии Гаршина о художественных выставках.

«Даю вам слово, — радостно пишет он Раисе Александровой, — что в эту зиму вы увидите мое имя в печати. Я должен итти по этой дороге во что бы то ни стало».

Но приподнятое настроение Гаршина постоянно омрачалось печальными известиями о поражениях сербской армии. Одновременно по Петербургу поползли слухи о безобразном поведении русских офицеров-добровольцев. Гаршин возмущенно сообщает в письме к матери о пьяных похождениях, дебошах и кутежах, которым предавались «освободители славян». «...Наши в Сербии обнаруживаются все более и более. То слышишь (от верных источников), что выдрал Депрерадович добровольца (400 розог) за то, что тот кого-то ударил пьяный; доброволец, кончивший курс в университете! То слышишь (тоже со слов очевидцев), как некий юноша (мне хорошо знакомый) в пику сербу, выпившему ½ ока вина, выкачал одним духом два ока (6 фунтов). И все в этом роде! Господи, кто туда не ехал!»

Жизнь начинает казаться Гаршину пустой и бесцельной. На фронт попасть не удалось, а в России тоска, жандармский гнет. Расправы царского правительства с революционерами вызывают в нем гневное возмущение. В этот период вся Россия была взволнована приговором над участниками демонстрации на Казанской площади. Восемнадцать человек были приговорены к каторжным работам на разные сроки и к высылке в Сибирь.

«Какое впечатление произвел на вас приговор? — взволнованно спрашивает Гаршин свою мать. — Пятнадцать лет каторги!! Девочку шестнадцати лет (Шефтель) на семь лет восемь месяцев!! Такие приговоры просто душу переворачивают...»

«Скучно и скверно, дорогая моя мама, — говорит он в другом письме, — ...писал бы много о «минуте», да нельзя. Нельзя ручаться ни за что. Террор».

Далее он демонстративно выписывает стихи Пушкина:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

«Это, — пишет Гаршин, — пропущено цензурой, писать можно... 1819—1877. 58 лет! А слова сохранили свой смысл. Вертись, белка, в колесе! Когда ось перетрется и колесо вывалится, быть может, и удастся тебе выскочить».

Вскоре в Петербурге были получены известия о полном разгроме сербской армии. Больше никто не сомневался, что война с Турцией неизбежна, что поражение сербской армии послужит началом новой военной кампании. И действительно, Александр II отправился в Кишинев, где уже были сосредоточены войска, и торжественным манифестом в апреле 1877 года объявил Турции войну.

12 апреля 1877 года, когда Гаршин вместе со своим товарищем Афанасьевым готовились к экзаменам по химии, им принесли газету, в которой был напечатан манифест об объявлении войны.

Оба студента оставили записки по химии незакрытыми и поспешили в институт подать заявление об увольнении. Гаршин, не колеблясь, решил с первого дня пойти добровольцем в действующую армию.

«Мамочка, — пишет Гаршин в Харьков, — я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благословите меня...»

Добровольный уход Гаршина на войну является одним из решающих эпизодов его биографии. Здесь наиболее остро сказалась противоречивость его психологического образа. Гаршин, остро и мучительно ненавидевший зло, содрогавшийся при виде чужих страданий, добровольно пошел в самую гущу борьбы, страданий и крови. Во имя чего?

В рассказе «Трус» главное действующее лицо перед отправлением на войну размышляет: «Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, итти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший

через год-два начать иную работу, труд любви, правды, я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собой, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла,—я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал...»

Гаршин считал безнравственным оставаться дома, когда на поле сражения льется кровь и люди испытывают тяжелые лишения. Ему нужно было самому приобщиться к страданиям своего народа. Во имя этого хрупкий молодой человек, страстный поклонник искусства, добрый сын и молодой влюбленный, бросает все и в грубой солдатской шинели и тяжелых сапогах, в стужу и непогоду совершает в строю утомительнейшие переходы, терпеливо разделяя с солдатами их горькое житье.

В ПОХОДЕ

4 мая 1877 года два молодых студента — Гаршин и его товарищ Афанасьев — приехали в Кишинев и в тот же день превратились в рядовых 138-го пехотного Болховского полка.

Через день полк выступил в поход. Под звуки оркестра, игравшего веселый марш, Гаршин бодро маршировал в шеренге солдат, с непривычки с трудом попадая в ногу. Новая, необычная обстановка создавала приподнятое настроение, хотя солдатский ранец оттягивал плечи, жесткий воротник шинели тер шею, а ружье плохо держалось на плече.

Поход был трудный. От Кишинева до деревни Гаурени, где состоялся первый привал, было всего восемнадцать верст, но, шагая в тяжелых солдатских сапогах и неся на себе свыше полупуда солдатской амуниции, Гаршин до такой степени устал, что заснул с ружьем в руках, не имея сил даже пообедать. Кратковременный отдых закончился на рассвете, и полк вновь двинулся вперед.

От сильных дождей дороги совершенно размокли. Приходилось итти по колено в грязи, к тому же обозы поминутно застревали, и солдаты, и без того измученные, должны были на руках вытаскивать из грязи повозки.

Как ни странно, хрупкий и с виду слабосильный Гаршин переносил трудности похода чуть ли не лучше, чем многие здоровяки из владимирской или тульской деревни... На остановках он подбодрял уставших, шутил, угощал товарищей табачком, а в свободные минуты писал за неграмотных письма на родину и читал им вслух прибывающие письма.

Солдаты вначале подозрительно и враждебно относились к «странному барину», по доброй воле пришедшему разделить их тяжелую жизнь. Однако постепенно лед таял, и содлаты стали привыкать к этому красивому, доброму человеку, необыкновенно мужественно переносившему все трудности походной жизни.

Прошло двадцать дней. Походным маршем были пройдены Кишинев, Леово, Фальчи, Берлад, Текуч, Фокшаны, Рымник, Бузеву. Нередко переходы достигали сорока-пятидесяти верст, но никогда Гаршин не отставал от товарищей и никто не слыхал от него ни слова жалобы. Шагая изо дня в день в строю, он внимательно изучал солдат, и в голове его постепенно начала складываться книга о русском солдате.

Одновременно Гаршин присматривался и к офицерству и к порядкам, царившим в армии. Он видел беззаветную, героическую службу солдат, их замечательную выносливость, трудолюбие и храбрость в бою и с все растущим отвращением воспринимал грубость и скотское отношение офицерства к этим замечательным, терпеливым людям.

«Солдаты вообще мне очень нравятся, — писал Гаршин матери с похода. — Офицерство (не отдельные офицеры, а офицерство) — чорт знает, что такое! Мордобитие до сих

пор процветает. Даже наш бригадный генерал бьет солдат в лицо и ругается скверными словами. Вообще уважения к себе в солдатах эта публика не внушает никакого».

Трудности похода все увеличивались. Ливни сменились изнурительным зноем. На переходах люди буквально падали от невыносимой усталости; тогда офицеры пинками и ударами подгоняли солдат, и марш продолжался. Был день, когда в батальоне Гаршина свалилось по дороге свыше ста человек. Однако Гаршин и здесь оказался в числе наиболее выносливых.

Из-за страшной жары людям разрешили итти в белых рубахах из грубой бязи, но и это не помогало. Наконец, после неимоверных трудностей полк прибыл в Бухарест и расположился лагерем недалеко от города. Солдат в Бухарест не пустили, но начальство поспешило вознаградить себя за трудный переход. Все кабаки и публичные дома города были переполнены кутящими русскими офицерами.

Через несколько дней отдыха начался второй этап похода. Из Baниaca, около Бухареста, полк выступил в Александрию, а оттуда, переправившись через Дунай, пришел в Зимницу. Здесь Гаршин впервые увидел убитых в бою. Трупы турок были страшно обезображены штыковыми ранами и ударами прикладов. В Зимнице, повидимому, происходили жестокие рукопашные бои.

Вид убитых не произвел на Гаршина того страшного впечатления, какого можно было ожидать при его нервной, впечатлительной натуре. Гаршин смотрел на трупы скорее глазами солдата, готовящегося вступить в бой, нежели философа, размышляющего о мировом зле. Он описывает в письмах к друзьям необычайный рост турок, их атлетическое сложение, анализирует характер ран. Он деловито прикидывает преимущества и недостатки штыкового боя в сравнении с артиллерийской и ружейной перестрелкой.

В Зимнице находился авангард русской армии. Неприятель был недалеко, и с минуты на минуту можно было

ожидать сражения. Гаршин интересуется всем. Он изучает обстановку боя, записывает, сколько батальонов стрелков, артиллерии и конницы сосредоточивается для удара, с необыкновенной любознательностью изучает все детали военной обстановки. Но стоит ему очутиться на горе за Систовым, откуда в сумерки открывается замечательный вид на Дунай, — в его душе просыпается художник, с восторгом вбирающий в себя необычайную красоту природы. Позабыты кровь и пушки; Гаршин весь во власти очарования раскинувшегося перед ним пейзажа.

В районе, где расположилась часть Гаршина, турки отступали без боя. Гаршин еще ни разу не был в сражении. Трудовые солдатские будни заполняли весь его день, смертельная усталость к вечеру заставляла забывать обо всем. Наделенный от природы зорким взглядом и наблюдательностью, Гаршин невольно начинает присматриваться к изнанке войны. Он видит, что спекулянты и казнокрады обворовывают армию, что солдаты больше терпят от плохого снабжения, от болезней и голодовок, чем от турецких пуль, что цели и задачи этой войны солдатам чужды и непонятны, и многое встает перед его глазами в своем истинном свете.

С огромной жалостью и сочувствием относится Гаршин к трудовому народу, ставшему жертвой столкновения империалистических интересов.

«Каждый почти вечер видно зарево далеких пожаров, — пишет он в одном из писем, — то турки жгут болгарские деревни. При этом режут болгар нещадно. Несчастный народ! Дорогой выкуп заплатит он за свою свободу».

Новые мысли осаждают Гаршина, не дают ему покоя. Он хочет поделиться со своими друзьями, но знает, что царская цензура все равно не пропустит его писем. Отдельные намеки, свидетельствующие о его душевном состоянии, рассыпаны во многих письмах, отправленных Гаршиным в этот период. Вот, например, отрывок из письма к А. Я. Герду. «...Что писать, я решительно не знаю



В. М. Гаршин. 1877 г.

Правда, впечатлений множество, но если бы я вздумал излагать их, то необходимо вдался бы в такие подробности, которые сделали доставку этого письма невозможным».

Весь июль прошел в переходах и разведке. По вечерам Гаршин видел зарево горящих болгарских деревень. Днем он проходил по неприбранным полям, с которых осыпался богатейший урожай. Его душа возмущалась страшной картиной бессмысленного опустошения и жестокости. Лишь смертельная усталость после переходов и напряжение нервов от сознания близкой опасности и возможной гибели в бою отвлекали мысли Гаршина. Кроме того,—и это для него было главным,— в подневольном положении солдата он чувствовал себя менее ответственным за то зло, которое он видел вокруг, и это сохраняло ему душевное равновесие.

14 июля несколько рот Болховского полка участвовало в бою против турок. Рота Гаршина стояла на аванпостах с одной стороны бивуака. Если б тревога случилась часом позже, то и роте Гаршина пришлось бы итти в бой. После сражения, закончившегося победой русских, полк отошел в другое место, а через несколько дней опять вернулся на место боя. Здесь-то и произошел случай, давший Гаршину сюжет для его знаменитого рассказа «Четыре дня». В кустах, между разложившимися трупами солдаты нашли раненого с раздробленными гранатой ногами. Он пролежал в поле четыре дня среди трупов и не мог двинуться. Он слышал, как мимо шли турки, но кричать боялся, а стонов его не слыхали. Затем все ушли, и раненый был забыт. Только теперь пришло спасение...

11 августа вблизи маленькой болгарской деревушки Айясляр произошел бой, и Гаршину впервые пришлось участвовать в схватке с неприятелем. Бригада, в которой он служил, стояла в Ковачице, в резерве. 9 августа 2-й и 3-й батальоны его полка были выдвинуты вперед, в Папкиой, а через день завязалось серьезное дело.

Айясляр — деревушка около речки Кара-Лом. Левый

берег, на котором стояли русские, спускался к руслу речки холмистою покатостью; правый — турецкий — был горист. Турки засели в горах.

Сначала русские действовали артиллерийским и ружейным огнем, а вечером, при яркой луне, пошли в атаку на крутую гору, высотою в несколько десятков сажен.

В это время батальон Гаршина и 3-й батальон Болховского полка лежали в полутора-двух верстах от позиции в резерве, но солдатам ясно было видно по огням выстрелов, как турецкая цепь подымалась все выше и выше, а русские наступали снизу, стреляя очень редко. Пули дальнобойных турецких винтовок залетали и в расположение резервных батальонов. Одному солдату пуля попала прямо в сердце, несколько человек было ранено. В гаршинской роте пулей разбило барабан.

Но вот турецкие выстрелы вспыхивают уже на самой вершине горы. Послышалось громкое «ура». Огоньки скрылись за горой, но треск выстрелов не прекращался. Отступающие турки заняли следующую высоту.

Русская артиллерия прекратила действие, так как пришлось бы стрелять поверх высокой горы, не зная, куда полетят снаряды—в своих или в расположение турецких войск.

Занявшие гору солдаты держались на вершине до утра. На рассвете резервные батальоны пошли им на смену.

Пули свистели все чаще и чаще, но солдаты упорно карабкались на высокую гору, и через четверть часа, добравшись до вершины, вышли на открытое место.

«Никогда я не забуду той картины, которая представилась нам, — вспоминал впоследствии Гаршин. — Позади гребня оказалась лощина, за которою опять подымалась возвышенность. За той — еще и еще. Низ лощины и противоположный нам склон ее весь белел и дымился. Это стреляли турецкие стрелки. Гребень противной нам высоты был покрыт войсками. Там стояли и пушки.

Мы рассыпались в цепь перед курганом, возвышавшим-

ся на гребне. Пули свистели так, что отдельных взвизгов не было слышно: все слилось в общее шипенье. Люди изредка падали. Мы вообще стреляли очень редко и, как я заметил на себе и других, очень тщательно прицеливаясь.

Восемь орудий на другой стороне лощины, до сих пор стрелявшие не в нас, вдруг начали пускать гранаты прямо в нашу цепь (с расстояния 1 200—1 300 шагов). Гранаты не так истребительны, как пули, но нравственное действие производят очень сильное. Пуфнет дым белым шаром, издали слышен визг, а когда граната пролетит мимо, он переходит в какой-то скрежет. Хуже же всего разрыв; если близко — оглушит, засыплет землею, которая, как фонтаном, брызжет на несколько сажен вверх и в стороны. Одна разорвалась передо мною в шагах шести: я лег ничком, и вся масса обломков, картечи и земли пронеслась над моей спиной. Вообще пушки стреляли замечательно метко.

На другом склоне показалась колонка. Она бежала вниз, в лощину, непрерывно стреляя, и мы обратили весь огонь на нее. Но турки шли и шли и через пять минут были у нас на носу. Цепь отхлынула назад шагов на двадцать; я, не заметив этого, остался один. Как меня не подняли на штыки, не знаю. Турки не добежали до меня разве потому, что не успели: наши закричали «ура» и бросились на них, и я очутился опять между своими. Турки бросились удирать; удирают они замечательно: прыгают вниз по горе, поджавши обе ноги, и все время стреляют назад, не оборачиваясь, а просто закинув ружье за плечо. Вообще они патронов не жалеют и жарят непрерывно на ходу, на бегу, идя вперед или назад.

Только что мы их погнали, меня хватило по всему телу что-то огромное, и я упал. Впрочем, я скоро опомнился, сел, затянул себе платком ногу выше колена и пополз. Шагов сто спустя меня подняли — наш барабанщик и унтер-офицер — и дотащили до носилок. Через два часа я уже ехал с перевязочного пункта в дивизионный лазарет».

ПЕРВЫЕ РАССКАЗЫ

Рана Гаршина оказалась неопасной. Пуля пробила лишь мякоть ноги выше колена, кость же осталась цела. Раненого поместили в военный госпиталь в городе Беле, в Болгарии. Потянулись скучные лазаретные дни. Нога заживала медленно, мучительные перевязки сменялись два раза в день.

Только один раз однообразие лазаретной жизни было нарушено приездом друга по гимназии — Миши Малышева, также вступившего добровольцем в действующую армию. Встреча старых товарищей была радостной. Малышев выложил перед Гаршиным все петербургские новости, а Гаршин поделился с ним опытом походной боевой жизни. За время короткого свидания Гаршин успел рассказать товарищу занимавший его случай с чудесным спасением раненого солдата, пролежавшего в поле среди трупов четыре дня.

Вскоре Гаршин был отправлен на излечение на родину. После утомительного путешествия, длившегося почти месяц, Гаршин добрался, наконец, до Харькова и вскоре из лазаретного барака переехал к родным на квартиру. В доме Гаршиных стало шумно и весело. По вечерам приходило много народу, главным образом учащейся молодежи, чтобы повидать раненого добровольца и послушать рассказы о войне.

Воспоминания друзей и родных рисуют нам Гаршина в этот период спокойным и оживленным. Сознание исполненного долга, всеобщее внимание, ореол героя — все это как будто подымало его настроение. Однако в глубине души Гаршина продолжался мучительный процесс осмысливания жизни. «Проклятые вопросы» оставались для него попрежнему неразрешенными. Душевное равновесие, установившееся на фронте под пулями, здесь вновь было нарушено. В гаршинском архиве сохранился отрывок письма

к неизвестному адресату, относящийся к этому периоду. Из отрывка видно, что лихорадочная работа мысли, нравственные терзания не покидали Гаршина и тогда. Он настойчиво искал какой-то высшей правды, искал смысла жизни и человеческих страданий.

«...Дорогой мой, — читаем мы в его письме, — знаешь ли ты, что твое хроническое горе до того въелось в мое существование, что в самые мучительные дни похода, те дни, когда не хотелось бы думать ни о чем, и тогда часто вспоминался мне другой мир страданий, тот, что сидит в твоем больном организме. И думал я, что ни мои кровавые мозоли на ногах, ни перетянутые ранцем и винтовкой плечи, ни голоданье, ни жажда, ничто не может сравниться с тем, что испытываешь ты, что испытывать приходилось и мне...»

В Харькове, в период выздоровления, Гаршин закончил рассказ «Четыре дня». Он начал работать над ним еще на бивуаке, непосредственно под впечатлением рассказа раненого солдата, и продолжал работу в лазарете и дома. Среди всех произведений, посвященных Гаршиным русско-турецкой войне, «Четыре дня» выделяются особой силой, остротой восприятия и потрясающей выразительностью.

Гаршин послал свой рассказ в Петербург, в журнал «Отечественные записки», и в октябрьском номере этого журнала рассказ «Четыре дня» впервые был напечатан.

История литературы знает немного случаев, когда безвестный молодой автор, опубликовав небольшой рассказ, стал бы знаменитостью. Успех «Четырех дней» был исключительный. Имя неизвестного доселе Гаршина было у всех на устах. Его портреты в солдатской шинели раскупались нарасхват. В короткий срок рассказ появился на нескольких европейских языках.

Успех «Четырех дней» был подготовлен не только предельным реализмом образов, остротой и новизной темы, но и обстановкой, сложившейся в стране в этот период.

С фронта приходили печальные известия. Русская армия страдала от болезней, холодов и плохого снабжения. Турецкие войска получали от англичан винтовки последнего образца и дальнобойные пушки. Осада Плевны, закончившаяся, правда, в конце концов взятием этой крепости, стоила русским войскам огромных потерь. Лишь переброска с европейской границы отборных войсковых частей — гвардии и гренадеров, которых берегли для возможной европейской войны, решила участь кампании. Сопротивление турок было сломлено, и русские войска продвинулись почти до самого Константинополя.

Осенью 1877 года, в момент появления гаршинского рассказа, война была еще в разгаре, но в обществе заметно возрастало недовольство. Уже в начале кампании стало ясно, что у различных представителей демократического лагеря точки зрения на затеянную царизмом войну отнюдь не совпадают. Зарубежный орган народников «Вперед», редактировавшийся Лавровым, с первого же момента занял по отношению к русско-турецкой войне отрицательную позицию, а «Отечественные записки», пользовавшиеся значительным влиянием на демократические слои общества, поддерживали идею «помощи братьям-славянам», приветствовали и оправдывали войну с турками.

Сейчас и этот журнал начал менять позицию. Новый курс «Отечественных записок» характеризует статья за подписью «Иностранец», наделавшая много шума в обществе и считавшаяся программной. Эта статья наиболее четко отразила мнение передовой части русского общества. Автор статьи спрашивал: «Имело ли русское интеллигентное общество право, в виду далеко не блестящего экономического положения своего народа, возлагать на него те великие жертвы, какие возлагают на него теперь ради дела, для него, во всяком случае, более или менее чуждого, по крайней мере, неразрывно не связанного с его собственным благополучием?»

Помещая эту статью, «Отечественные записки» достаточно ясно указывали передовому русскому обществу, что основная задача демократии заключается не в помощи царизму для ведения завоевательной войны, прикрытой теми или иными «освободительными» лозунгами, а в освобождении своего собственного народа от гнета самодержавия.

В этой обстановке появление рассказа Гаршина «Четыре дня» произвело сенсацию. Рассказ, написанный непосредственным участником войны, добровольцем, раненым в бою и представленным за храбрость к георгиевскому кресту, рассказ, до жути реально показывающий одну из бесчисленных трагедий на поле битвы, с огромной силой потряс сердца читателей.

В скупых строчках «Четырех дней» ярко и выпукло было показано — притом достоверным очевидцем — многое из того, что хотели доказать в многочисленных статьях передовые представители демократической интеллигенции.

Герой «Четырех дней», интеллигент, пошедший на войну добровольцем, участвует в кампании простым рядовым. Он сознает, что эта война не популярна в народе: «...Я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, и даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли — только бы позволили».

Рядом с тяжело раненым героем рассказа на поле лёжит труп турецкого солдата, убитого им в штыковой атаке.

Раненый размышляет о том, что убитый турецкий солдат — крестьянин, вооруженный английской винтовкой, тоже выполнял лишь волю своих турецких и английских угнетателей.



Иллюстрация к рассказу «Четыре дня».

(Рисунок худ. Дубровского.)

«...Этот несчастный феллах[1] (на нем египетский мундир) — он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он не слыхал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели итти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался. Но, видя, что мы страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас...»

Близость смерти заставляет мозг раненого лихорадочно работать. Он вспоминает мать, невесту, близких людей. Он жалеет о бесцельном убийстве, не принесшем никому пользы. «...Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить?..»

«Четыре дня», как и другие военные рассказы Гаршина, явились ярчайшим изображением антинародного характера захватнической войны, эти произведения вызывали в читателе гнев и протест против бессмысленного убийства людей во имя интересов кучки эксплоататоров. Однако сам Гаршин еще не осознал во всей глубине объективного смысла написанного им рассказа. В его представлении война — это темная стихийная сила, неотвратимая и неизбежная. В нем нет еще ненависти к господствующим классам, вдохновляющим эту захватническую войну, нет еще революционного протеста против вершителей судеб миллионов людей. Он ищет выхода лишь в том, чтобы разделить страдания с народом и личным участием в боях найти избавление от ответственности за зло и страдания, причиняемые людям войной.

---

[1] Феллахи — крестьяне в Египте, живущие в очень тяжелых условиях и кабально эксплоатируемые помещиками.

Понемногу Гаршин оправлялся от раны. Он начал уже ходить, опираясь на палку. Извещение о том, что за проявленную храбрость он представлен к военной награде, его нисколько не порадовало: военная слава была ему не нужна. Писательский труд манил его к себе неудержимо. Гаршин уже тяготился пребыванием в Харькове. Он хотел поскорее уехать в Петербург, но выздоровление шло медленно, нервы опять начали портиться, и в довершение всего он заболел желудочной лихорадкой.

В это время Гаршин получил новое сообщение: он представлен к производству в офицеры. Однако это его больше взволновало, нежели обрадовало. Ему был известен приказ, напечатанный в «Летучем военном листке», запрещавший военнослужащим всякое литераторство. Для Гаршина это было серьезным ударом. «Но я буду писать, пока не посадят», заявлял он своему приятелю Афанасьеву. И действительно, вдохновленный успехом своего первого рассказа, Гаршин готов был отказаться от офицерского мундира, но не от литературной работы.

В начале декабря 1877 года Гаршин приехал в Петербург. В столице молодой писатель был встречен хорошо. В редакциях на него возлагали большие надежды, ждали новых рассказов и наперебой приглашали сотрудничать. В «Отечественных записках» Гаршин считался уже постоянным сотрудником, он получил приглашение от вновь организованного журнала «Слово», его приглашали в «Стрекозу» и другие журналы.

Чего, казалось, желать двадцатидвухлетнему красивому, умному юноше, овеянному романтикой геройства, быстро и легко завоевавшему славу и принятому в литературу с распростертыми объятиями? Вначале Гаршин был действительно захвачен чудесным ощущением первой славы, первых литературных забот и великих надежд. Однако личное счастье никогда не заслоняло для него общего ощущения жизни, и Гаршин-писатель еще сильнее воспринимал стра-

дания людей, уродливые сцены угнетения человека человеком — все то, что он наблюдал на каждом шагу.

В среде петербургских литераторов, в кружках учащейся молодежи, на вечеринках, где горячие споры не прекращались до утра, охотно принимали этого слегка прихрамывающего молодого человека, с тонким, бледным лицом, обрамленным легким темнорусым пушком. Окружающих поражало выражение глубокой грусти, разлитое во всех чертах этого привлекательного лица. Особенно запоминались его большие глаза, светившиеся добротой и благородством.

Предложения печататься шли со всех сторон. От молодого писателя ждали новых шедевров. Но, строгий к себе, он не спешил публиковать свои рассказы, хотя работал очень много.

«...Литературные мои дела находятся в блестящем положении, — пишет он своему товарищу Афанасьеву, — если брать «потенциал». Только пиши, а брать везде будут. В некоторые журналы («Слово», «Пчела») я приглашен самими редакциями. Но печататься теперь я буду только в крайнем случае. Пишу, правда, я довольно много, но все это для меня этюды и этюды; выставлять же их я не желаю, хотя уверен, что они шли бы не без успеха. Буду печатать столько, чтобы только просуществовать».

В январе 1878 года между Россией и Турцией было заключено перемирие, и вскоре начались переговоры о мире. По решению Берлинского конгресса Болгария превращалась в независимое княжество, а Россия получала несколько городов. По-настоящему же плодами побед русской армии воспользовались Австрия и Англия, получившие огромные куски турецкой территории, не потеряв при этом ни одного своего солдата.

Гаршин был рад окончанию войны и с горечью подвел ее итоги:

«Поздравляю вас с миром, — писал он матери. — Дай господи, чтоб он был покрепче. 90 тысяч убитых и калек,

500 тысяч долга! Вот что уже дала война. Что-то будет дальше...»

Зимою 1877/78 года Гаршин тесно сошелся в Петербурге с кружком художников. Он посещал выставки, мастерские. Бывал на их собраниях. В «Новостях» он напечатал отчет о работах учеников Академии художеств.

Литературный успех «Четырех дней» открыл Гаршину широкий доступ в дома петербургской интеллигенции. Его наперебой приглашали в среду писателей, художников, политических деятелей и всякого рода знаменитостей. Но Гаршин быстро оправился от первого опьянения успехом. Присматриваясь ближе к столичному обществу, точнее, к его интеллигентско-либеральной части, он испытывает постепенно горькое разочарование. Он пишет своему другу Афанасьеву: «...Петербург уже мне надоел хуже горькой редьки. Стремлюсь из него удрать. Собственно говоря, здесь можно было бы жить и интересно: мне открыта полная возможность познакомиться со всякими знаменитостями; да со мной сделалось что-то странное: прежняя страсть к знакомствам исчезла. Особенно не хочется знакомиться с разными генералами от интеллигенции, может быть, потому, что не хочется «ученичествовать», с почтением выслушивать слова, изрекаемые на манер пророчеств. Бог с ними. К своей литературе я стал относиться строже. Художественные рецензии писать бросил, ибо ведь собственно это было с моей стороны шарлатанство. Буду работать побольше, вылезать поменьше, авось что-нибудь и выйдет...»

Вскоре Гаршин опубликовал в журнале «Стрекоза» новый рассказ «Очень коротенький роман». В этом рассказе он описал возвращение в столицу добровольца русско-турецкой войны.

Молодая девушка однажды сказала своему возлюбленному:

— Вы честный человек?

— Могу допустить это, — ответил он.

— Честные люди делом подтверждают свои слова. Вы были за войну — вы должны драться. Когда вы вернетесь, я буду вашей женой.

Молодой доброволец ушел на войну. В бою он был ранен и вернулся в Петербург без ноги, на деревяжке.

За время его отсутствия девушка полюбила другого. Обманутый доброволец не протестует, не жалуется. Он даже был шафером на свадьбе своей возлюбленной, но ночью, один, он предается своему горю.

Этот рассказ явился дальнейшим выражением разочарования войной, логическим продолжением настроения, которое породило и рассказ «Четыре дня».

В марте этого же года в «Отечественных записках» появился другой рассказ — «Происшествие», посвященный теме проституции.

Эта тема широко дебатировалась в обличительной литературе тех лет. Проституция трактовалась как зло, порожденное несправедливостью социального строя. Так подошел к вопросу и Гаршин.

«...Я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это — должность!» иронизирует проститутка над теориями тех, кто ищет оправдания проституции.

Однажды к ней пришел юноша и стал цитировать из книги какого-то философа что-то вроде того, что проституция является «клапаном для общественных страстей». Надежда Николаевна, так звали проститутку, с отвращением восклицает: «И слова гадкие и философ, должно быть, скверный, а хуже всего этот мальчишка, повторявший эти «клапаны».

Она потеряла веру в людей. «Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть?» горестно размышляет она.

Проститутку полюбил чиновник, хороший, мягкий чело-



Н. М. Золотилова.
(С фотографии 1880 г.)

век, но любовь его неудачна, изменить он ничего не может, и он кончает самоубийством.

В «Происшествии» Гаршин впервые попытался вскрыть корни одной из самых отвратительных сторон окружающей «мирной», повседневной жизни. Здесь Гаршин выступает как представитель лучших демократических традиций русской литературы, подлинный гуманист и просветитель.

Все чаще Гаршин задумывается о своей будущности. Со дня на день он ожидает объявления о производстве его в офицеры. Он ждет этого назначения попрежнему со страхом. Его пугает мысль уехать в глухую провинцию, окунуться в быт армейской офицерской среды. Он боится, что из-за болезненного состояния с тоски либо сопьется, либо что-нибудь с собой сделает.

Иногда ему, наоборот, кажется, что долг повелевает итти в армию, где особенно ярко проявляются грубость и насилие его жестокой эпохи.

«...Мы с тобой достаточно убедились в плохом положении нашей армии, — пишет он Афанасьеву. — Мы хотим уходить из нее именно потому, что в ней для нас скверно, душно. Если так будут рассуждать все, видящие гадость в военной среде, то никогда и среда не изменится. Не лучше ли нам влезть в эту среду? Может быть, что-нибудь и сделаем путного. Может быть, со временем мы будем иметь возможность не дозволить бить солдата, как это делается теперь, не дозволить вырывать из его рта последнюю корку хлеба...»

Наряду с проектом ухода в армию он мечтал поступить в университет и пополнить свое образование. Вскоре он осуществил этот замысел, записавшись вольнослушателем на историко-филологический факультет Петербургского университета, но пришла весть о производстве его в офицеры. Колебаний больше не было. Он безоговорочно решил подать в отставку, ссылаясь на болезнь ноги.

Однако, чтобы добиться отставки, ему пришлось проделать длительную и нелегкую процедуру — лечь в госпиталь и подвергнуться различным медицинским исследованиям. Рядом с палатой, где находился Гаршин, помещалась сифилитическая палата, откуда ежедневно доносились пьяные крики. «Что за отверженная военная служба? Что за монстры в ней не то что встречаются, а почти исключительно существуют?» сетует Гаршин.

Однообразие госпитальной жизни нарушалось ежедневными посещениями палат студентами-медиками и курсистками, приходившими в госпиталь на практику. Среди курсисток оказалась одна знакомая Гаршина — Надежда Михайловна Золотилова. Эта славная девушка с умными, живыми глазами была дальней родственницей друга Гаршина — Володи Латкина.

Молодая курсистка была удивлена и обрадована неожиданной встречей. О Всеволоде Гаршине она слышала давно. Еще в ту пору, когда Гаршин был в Болгарии, на фронте, Володя Латкин не переставал расхваливать своего друга. Он показывал своей родственнице письма Гаршина с фронта и не скупился на выражения, описывая его ум, красоту, благородство.

Немудрено, что романтически настроенная восемнадцатилетняя девушка была в восторге от необычного добровольца еще до того, как его увидела.

Когда Гаршин, оправившись от ранения, приехал в Петербург, Надежда Михайловна с нетерпением ждала визита «солдатика» в дом Латкиных. Велико было ее разочарование, когда Гаршин, заглянувший к ним как-то вечером, не обратил, казалось, на нее никакого внимания. Но вскоре между молодыми людьми зародилась и окрепла дружба.

Встречи с Золотиловой, очевидно, сыграли некоторую роль в отношениях Гаршина с Раисой Александровой, которые последнее время что-то не ладились. Дело, наконец, дошло до открытого разрыва. Гаршину казалось, что Раиса

к нему холодна, что она его не любит. Трудно сказать, кто был истинным виновником разрыва, но когда долгие дружеские отношения порвались, Гаршин пытался уверить окружающих, что разрыв с Раей для него облегчение, избавление от обузы и т. д. На самом же деле разрыв этот доставил ему много тяжелых переживаний. «Я до конца любил эту девушку,— писал он матери.— Причина разрыва не я, а она... Довольно сказать, что она позволяла себе обманывать меня...»

В Петербурге вновь пошли разговоры о войне. Но Гаршин твердо решил покончить с военной службой. Советы матери вызывают в его душе лишь мучительные воспоминания и ненависть к тем, кто организовал войну. «Я вспомнил день 11 августа 1877 года[1], — отвечает он матери, — быть может, единственный день, когда сознавал себя честным и порядочным человеком. Тот, кто не бывал под пулями, вряд ли поймет, что я хочу этим сказать. Вчера вечером я рассказывал двум знакомым об этом дне и, когда они ушли, чуть не расплакался. Убитые товарищи и теперь передо мною, как живые, особенно Федоров, на моих руках истекший кровью. Ах, злодеи, что они делают!»

Зиму 1878/79 года Гаршин провел в Петербурге. Он много читал, попрежнему интересовался искусством, но настроение у него было подавленное. В Петербурге шли массовые аресты революционеров, и среди арестованных были личные друзья Гаршина. Террор правительства принимал все более жестокие формы. Полиция издала новые правила для меблированных комнат и потребовала от хозяев планы квартир, чтобы облегчить производство обысков. Гаршин, живший в меблированных комнатах, со дня на день мог ждать визита жандармов. Свои письма и бумаги он на всякий случай решил отнести к своим богатым, а потому благонадежным, родственникам.

---

[1] День, когда он был ранен под Айясляром.—*Н. Б.*

Среди рассказов, написанных Гаршиным в эту тревожную и грустную зиму, особое место занимает рассказ «Встреча», в котором остро затрагивается один из наиболее волнующих вопросов эпохи — о зарождении капитализма в России.

В небольшой приморский город приезжает учитель, назначенный в местную гимназию. Он полон высоких мыслей о своем призвании, мечтает воспитать плеяду общественных деятелей, людей науки, полезных обществу, которые понесут в жизнь семена добра и правды.

Неожиданно он встречает школьного товарища, ставшего теперь инженером и крупным дельцом. Товарищ приводит его в свою квартиру. Скромный учитель потрясен роскошью обстановки и кричащим богатством хозяина. С циничной откровенностью инженер рассказывает ему о хищениях, казнокрадстве и ловкости, при помощи которых он, этот представитель молодой хищной буржуазии, обогащается.

Учитель в ужасе. Он пытается горячо и ярко обрисовать инженеру гибельность избранного им пути, всю безнравственность его поведения, наконец, опасность, которой он подвергается.

«Да ты, наверно, пойдешь по Владимирке», заканчивает учитель свою взволнованную речь.

Инженер не смущен. Он снисходительно выслушивает слова учителя. В своем праве он уверен.

«До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю — ничего ты не понимаешь. Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг: самый воздух — и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного — один за всех...

Гаршин, в отличие от народников, не отмахивается от появления в России капитализма. Художник-реалист ясно

видит его неотвратимое наступление и беспощадно рисует жадный, хищнический облик капитализма с его волчьим принципом уничтожения слабого сильным. Гаршин презирает и болтунов из либерально-народнического лагеря, мнящих себя бескорыстными идеалистами, а на деле пресмыкающихся перед новым хозяином, ослепленных властью денег, растерянных и жалких.

Столкнув в рассказе «Встреча» два, казалось бы, диаметрально противоположных типа — идеалиста и циничного дельца, Гаршин так рисует ход мыслей учителя: он «был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок — краденый, — думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. — А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и оставались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну так что ж!..»

«Воруем, слышишь ли ты?—между тем издевался инженер.—Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруешь... Ты-таки, брат, грабитель под личиною добродетели. Ну, что это за занятие твое—учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такими же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня?..»

И когда инженер-делец насмешливо бросает в лицо учителю-идеалисту: «Не возмущаю я тебя, вот и все!»—слова его звучат обвинением всем тем либеральным интеллигентам, которые, прикрываясь прекраснодушной болтовней, не

только примиренчески относились к хищничеству капиталистов, но, по существу, уже целиком переметнулись на сторону буржуазии.

Весной 1879 года Гаршин вновь уехал в Харьков. Вместе с ним туда приехали «на этюды» два его приятеля, художники Малышев и Крачковский. Составилась веселая компания молодежи. Собирались у Гаршиных чуть не каждый день, устраивали загородные прогулки, пикники, всевозможные развлечения.

Гаршин был неутомим в ходьбе, в плавании, гребле, много смеялся, шутил и, по мнению друзей, сохранял всегда отличнейшее настроение. Однако внутреннее его состояние оставалось угнетенным и тревожным. Попрежнему душа его упрямо ищет ответа на «проклятые вопросы» и не находит его.

Плодом этого внутреннего напряжения явились два рассказа — «Художники» и «Attalea princeps».

Рассказ «Художники» является дальнейшим развитием идеи, послужившей основой для «Встречи». Два художника, Дедов и Рябинин, символизируют два направления в искусстве. Дедов—пейзажист, обеспеченный человек. Жизнь ему улыбается. Он сторонник «чистого искусства», влюблен в свои картины, с наслаждением рисует бесконечные «Закаты», «Утра», «Натюрморты» и т. д. Общественные отношения его не интересуют. Он считает, что художник должен выискивать в окружающей жизни красоту и гармонию и услаждать взор знатоков. Ему кажется странным и непонятным пристрастие Рябинина—представителя реалистического, общественного направления в искусстве—к реальным сюжетам. «Зачем,—рассуждает Дедов,—нужно писать эти лапти, онучи, полушубки, как будто не довольно насмотрелись на них в натуре?»

«По-моему,—продолжает он,—вся эта мужичья полоса в искусстве—чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нет спора,

но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе существует искусство?»

Рябинин представляет в рассказе другое направлёние. Он задумывается над общественным значением искусства, над долгом своим как художника. Он ужасается, что его искусство бесцельно. «Как убедиться в том,—восклицает он,— что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы... тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который, не спеша, подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «гм, гм, ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями?»

Дедов и Рябинин попадают как-то на машиностроительный завод. В котельном отделении внимание Рябинина привлекла работа «глухарей». Работа эта заключалась в следующем: рабочий садился в котел и держал заклепку клещами, изо всех сил напирая на нее грудью, а снаружи мастер колотил по заклепке молотом, пока не образовывалась шляпка—металлический кружок.

«Да ведь это все равно, что по груди бить!» в ужасе восклицает Рябинин. Дедов—в прошлом инженер—подробно объясняет Рябинину, что работа действительно очень тяжелая, что рабочие на этом деле мрут, как мухи, что больше года-двух не выдерживает самый здоровый и сильный, что работать приходится летом в жару, а зимой на холоде, согнувшись в котле в три погибели, что «глухарями» прозвали этих рабочих потому, что они большей частью глохнут от шума, а платят «глухарям» гроши, так как для этой работы квалификации никакой не требуется, а нужно лишь «рабочее мясо».

Рябинин потрясен. Он решает написать картину «Глу-

харь». Его искусство должно показать обществу весь ужас человеческого угнетения. Нужно закричать на всю страну о позоре, о несправедливости строя, в котором возможна подобная эксплоатация человека человеком.

Картина захватывает Рябинина. По мере того как подвигается работа художника, его душой все сильнее овладевает смятение. Образ несчастного рабочего преследует его день и ночь. «Вот он сидит передо мной в темном углу котла,— скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного «глухаря» напрягать все силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе...

«Я вызвал тебя из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силой моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: «Я — язва растущая!» Ударь их в сердце, лиши сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

Однако Рябинин знает, что его картина ничего не изменит, что «общество», к которому он апеллирует, останется глубоко равнодушным к взволновавшей и перевернувшей ему душу теме:

«Картина кончена, вставлена в золотую рамку, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди «Полдней» и «Закатов», рядом с «Девочкой с кошкой», недалеко от какого-нибудь трехсаженно-

го «Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут чиркать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований: он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного «Глухаря», будет кричать: Но где же тут изящное, скажите, где тут изящное?» И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой: дамы—те только скажут: «Ah, comme il est laid ce[1] «глухарь», и поплывут к следующей картине, к «Девочке с кошкой», смотря на которую, скажут: «Очень, очень мило», или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопение и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, старадальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них».

Какой же выход? Рябинин приходит к решению вопроса в духе писаревской эстетики, впоследствии односторонне подхваченной народниками. Нужно бросить бесполезное искусство и итти в учителя, чтобы хоть чем-нибудь помочь народу.

Однако сам Гаршин чувствует всю фальшь и недостаточность такого решения. Вот почему он кончает рассказ словами, что и на этом поприще Рябинин «не преуспевал». Гаршин обещает вернуться к судьбе Рябинина в другом рассказе, но к этой теме он больше уже не возвращался.

Гаршин не дожил до того времени, когда он мог бы увидеть и указать Рябинину другой путь—настоящий путь ос-

---

[1] «Ах, как он невзрачен, этот «глухарь».

вобождения «глухарей» и всего рабочего класса от ужаса угнетения.

Борьба двух течений в русской живописи, которые символически представлены в рассказе Рябининым и Дедовым, в тот период обозначилась особенно ярко. Друзья Гаршина, художники Ярошенко и Савицкий, выступили с картинами, посвященными острым социальным темам. Ярошенко выставил картины «Кочегар», «Невский проспект ночью», «Причины неизвестны» и другие, Савицкий — картины «На войну», «Беглый», «Крючники». Свои картины они показывали на тех же выставках, где Перов и Прянишников выступали с «Птицеловами», «Рыболовами», «Охотниками».

Симпатии Гаршина были всецело на стороне Ярошенко и Савицкого. Картина «Кочегар» вызвала глубокое восхищение Гаршина и, по словам некоторых биографов, именно она вдохновила Гаршина написать «Художников».

Мыслям о задачах искусства, высказанным в «Художниках», Гаршин оставался верен всю жизнь.

В отзывах о художественных выставках он резко критиковал живописцев, уходящих от острых тем жизни в «чистое» искусство, в пейзажи, натюрморты, и «невинные» сюжеты.

«Много раз уже было замечено, — писал Гаршин, — что пейзажная живопись у нас сделала больше, сравнительно с жанром, успеха. Что за причина этому явлению? Неужели бедность русской жизни и истории драматическими моментами, достойными перейти на полотно? Нет, этому нельзя поверить! Причина лежит не в бедности сюжетов, а скорее в самих художниках. Они, как и вся наша интеллигенция, в большинстве случаев настолько оторваны от родной почвы, настолько мало знакомы с русской жизнью, что сродниться с сюжетом русским, родным, прочувствовать его для них дело весьма хитрое».

Писательница Л. И. Микулич, как-то, гуляя с Гар-

шиным в саду, спросила у него, видел ли он сам работу «глухарей». Гаршин ответил: «Да, я был на заводе».

Попутно разговор зашел на модную тогда тему о необходимости «любить всех и все». Писательница добавила иронически: «Не трудно любить былинку, за что ее не любить? Трудно любить тех, кто причиняет зло существам, любимым нами».

Гаршин задумался и решительно ответил: «Да, это правда. Если я люблю «глухаря», как я могу любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел?»

Дальше Гаршин стал развивать мысль, что ответственность за положение «глухарей» несет общество. Зло существует потому, что общество относится к нему равнодушно, терпит его. «Конечно, мы сами создаем весь ад, все страдания нашей жизни», горячо доказывал Гаршин.

Почти в одно время с «Художниками» Гаршиным была написана сказка «Attalea princeps»— о гордой пальме, боровшейся в одиночестве за свободу.

Образ гордой пальмы, томящейся в стеклянной клетке оранжереи, приходил ему в голову не раз. Еще в начале 1876 года, когда молодой студент сам, точно невольник в тюрьме, томился вынужденным бездействием, когда его юношеский энтузиазм и жажда подвигов в борьбе за свободу угнетенного человечества еще не нашли неожиданного выхода в кровавых боях на Балканском полуострове, Гаршин написал на эту тему стихотворение «Пленница».

Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит;
Пробито стекло, изогнулось железо,
И путь на свободу открыт.

И отпрыск от пальмы султаном зеленым
Поднялся в пробоину ту;
Над сводом прозрачным, под небом лазурным
Он гордо глядит в высоту.

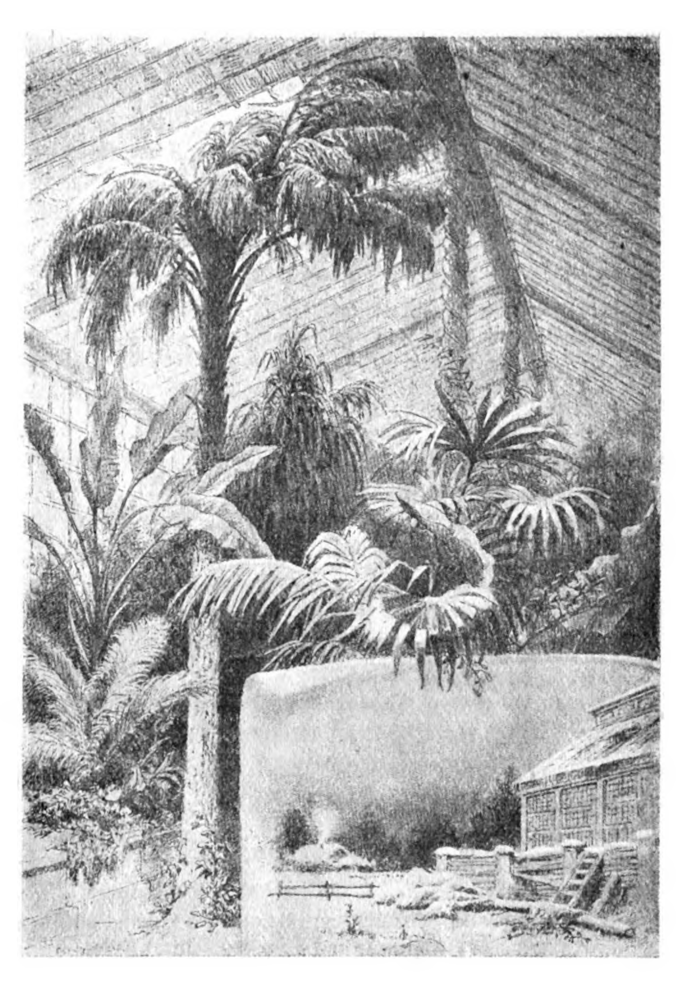


Иллюстрация к рассказу «Attalea princeps».
(Рисунок худ. Г. П. Кондратенко.)

И жажда свободы его утолилась.
Он видит небесный простор,
И солнце ласкает (холодное солнце!)
Его изумрудный убор.

Средь чуждой природы, средь странных собратий,
Средь сосен, берез и елей
Он грустно поникнул, как будто бы вспомнил
О небе отчизны своей.

Отчизны, где вечно природа пирует,
Где теплые реки текут,
Где нет ни стекла, ни решеток железных,
Где пальмы на воле растут.

Но вот он замечен; его преступленье
Садовник исправить велел —
И скоро над бедной прекрасною пальмой
Безжалостный нож заблестел.

От дерева царский венец отделили,
Оно содрогнулось стволом,
И трепетом шумным ответили дружно
Товарищи-пальмы кругом.

И снова заделали путь на свободу,
И стекла узорчатых рам
Стоят на дороге к холодному солнцу
И бледным чужим небесам.

В сказке «Attalea princeps» разработан тот же сюжет, но здесь мотив о пальме, рвущейся на свободу, звучит острее и революционней, и сама сказка создана рукой замечательного художника.

В большом городе была оранжерея, в которой росли чудесные заморские растения. В оранжерее было тесно. Растения корнями переплелись между собой и боролись за каждую каплю влаги и пищи. Они тосковали о широком просторе, о синем небе и свободе, но стеклянные рамы оранжереи давили их кроны, стесняли, мешали им жить и развиваться.

Среди других растений росла здесь красивая, гордая пальма Attalea princeps. Она была выше всех, красивей всех. На пять сажен возвышалась она над верхушками своих соседей. Растения ее не любили. Они считали ее гордой и заносчивой и завидовали ей. Однажды пальма предложила растениям общими усилиями навалиться на рамы, раздавить стекла и вырваться на свободу. Растения отказались. «Глупости! глупости!» заговорили деревья и все разом начали доказывать Attalea, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта! — кричали они.— Вздор! нелепость! Рамы прочны и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и топорами, отрубят ветви, заделают рамы и все пойдет по-старому».

«Ну, как хотите, — отвечала Attalea princeps. Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла,— и я увижу!»

И пальма в одиночку начала борьбу за свободу. Она изо всей силы тянулась ввысь. Добравшись до потолка оранжереи, она уперлась в раму. Холодные прутья резали и уродовали молодые листья пальмы, но она была упряма и не жалела себя.

Наконец, железная решетка лопнула. На пол посыпались стекла, и пальма гордо выпрямилась над стеклянной крышей оранжереи. Она была свободна.

На дворе стояла глубокая осень, моросил мелкий дождь, смешанный со снегом. Пальме, вырвавшейся на свободу, грозила смерть от стужи. Пришли люди, спилили ее и выбросили на двор. Так кончилась борьба одинокой пальмы.

Окружающий мрак и холод эпохи разрушали и самого Гаршина. Осенью 1879 года состояние его резко ухудшилось. Фаусек, который встречался с ним осенью в Харькове, так описывает его состояние:

«Душу его угнетала постоянная тоска. Он изменился и физически; осунулся, голос стал слабым и болезненным, походка вялой; он шел, понуря голову, и, казалось, даже итти для него было неприятным и болезненным трудом. Его мучила бессонница. Целый день он не мог ничего делать, а по ночам лежал до четырех, до пяти часов и не мог заснуть. Он проводил ночи за чтением романов и старых журналов. Чтение, случайное, неправильное, первого, что попадет под руку, было единственно доступное ему занятие. Ничто не могло доставить ему удовольствия или обрадовать его. Самое ощущение удовольствия стало ему недоступным».

Фаусек пытался утешить своего друга, но Гаршин либо молчал, либо угрюмо и неохотно отвечал. Однажды, в солнечный осенний день Фаусек указал Гаршину на прекрасный вид, открывавшийся с одной из улиц города. Гаршин поморщился. «Что мне до этого вида? — ответил он. — Счастье человека не в космосе, а в том микрокосме, который в душе!»

А на душе у него было тяжело.

Однажды Гаршин прочитал Фаусеку наизусть любимое свое лермонтовское стихотворение: «Не смейся над моей пророческой тоской, я знал, — удар судьбы меня не обойдет...»

«Он стоял передо мной, — вспоминал Фаусек, — неподвижно вперив в меня взгляд, и в его печальных, серьезных глазах, в его глухом взволнованном голосе было столько тоски, столько глубокого убеждения, столько уверенности в пророческой правде тех слов, которые он произносил...»

Угнетаемый мрачной апатией, поздней осенью Гаршин

вернулся в Петербург. К этому времени относится его рассказ «Ночь», представляющий собой сгусток отчаяния и интеллигентской беспочвенности.

Настроение, которым проникнут этот мрачный рассказ, не было, впрочем, только субъективным, свойственным лишь индивидуальности Гаршина. Идея самоубийства как единственного выхода для мыслящего человека, порожденная неудовлетворенностью жизнью, ее бесцельностью, была распространена в литературе тех лет. Характерно, что почти одновременно с гаршинским рассказом «Ночь» появились и другие рассказы с таким же названием и примерно на такую же тему.

Мучительно копаясь в своей душе, гаршинский герой не находит точки опоры в жизни. Только смерть, по его мнению, может дать избавление, только тогда не будет «обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования».

Трагедия одиночки интеллигента показана в рассказе с огромной силой: «Страшно, — размышляет гаршинский герой, — не могу я больше жить за собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире, что бы я там ни кричал, и которая говорит душе, несмотря на все старания заглушить ее».

Как всегда, Гаршин вкладывает в рассуждения героя собственные свои думы: «Он вспомнил горе и страдания, какие довелось ему видеть в жизни, — пишет Гаршин о своем герое, — настоящее, житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно итти туда, в это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир».

Рассказ заканчивается описанием комнаты, скудно осве-

щенной серым светом утра. Посредине ее, на полу распростерт труп, рядом лежат заряженное оружие и письмо, полное безумных проклятий жизни. Впоследствии Гаршин объяснял Н. К. Михайловскому, поместившему не совсем одобрительный отзыв о рассказе «Ночь», что Алексей Петрович (так звали героя «Ночи») вовсе не покончил с собой (рядом лежал заряженный револьвер), а умер от разрыва сердца. Но смысл рассказа от этого не меняется.

В течение трех лет, с 1877 по 1880 год, Гаршин написал всего восемь рассказов, но в них были затронуты самые разнообразные стороны русской жизни конца семидесятых годов.

Теперь Гаршин был уже общепризнанным писателем и считался самым даровитым из молодых. Старик Тургенев называл его надеждой русской литературы. Выхода в свет его рассказов с нетерпением ожидала вся передовая интеллигенция. Между тем, талантливый писатель продолжал жить в крайней нужде, на грани голода: писательская профессия не могла прокормить его. Гаршин пытался через знакомых устроиться на службу в банк; но претендентов на каждое свободное место было так много, что старания его не увенчались успехом.

Одно время он почти решил уехать в деревню на должность писаря в ссудо-сберегательное товарищество. Ему казалось, что в деревне он сможет не только прокормить себя, но и чем-нибудь помочь крестьянам. Однако и этот план остался неосуществленным.

О том, насколько нищенски оплачивалась работа писателя, можно судить по такому эпизоду. Слава нового молодого писателя облетела все петербургские редакции. И вот как-то Гаршин по какому-то постороннему делу зашел в редакцию «Слова» и назвал свою фамилию. Комната быстро заполнилась сотрудниками, желавшими взглянуть

на знаменитость. Из кабинета спешно вышел Жемчужников, представлявший в редакции интересы хозяина-издателя, и, рассыпаясь в любезностях, стал просить Гаршина написать для «Слова» рассказ. Гаршин отказывался. Тогда Жемчужников спросил, сколько Гаршину платят в «Отечественных записках». Оказалось, что Гаршину платили маленькое жалованье и семьдесят пять рублей с листа.

Один из сотрудников «Слова» впоследствии так описывал этот разговор:

«— Послушайте, Всеволод Михайлович, — говорил Жемчужников, играя золотыми цепочками на груди, — мы вам будем платить такое же жалованье, но по-листно, будем платить не семьдесят пять, а триста рублей. Переходите к нам.

Гаршин вспыхнул, краска заиграла на его худых щеках.

— Нет, я не могу нарушить обязательства.

— Так вы, по крайней мере, скажите Салтыкову о нашем предложении. Нельзя же так эксплоатировать писателя.

— О нет, пожалуйста, не говорите так. Ведь я едва лист или полтора могу написать в течение года. Скорее я эксплоатирую журнал».

Гаршин постарался быстро прекратить неприятный для него разговор и ушел из редакции, провожаемый удивленными взорами сотрудников. Семьдесят пять рублей за авторский лист рассказов, которыми зачитывалась вся грамотная Россия, — такова была жалкая оплата его таланта.

Чтобы как-нибудь помочь Гаршину, друзья устроили ему работу над переводом немецкой книги «Определение птиц». «Книга о птицах — скука страшная,— жалуется Гаршин матери, — и переводить ее мне трудно, потому что я не знаю ни языка, ни орнитологии, но все-таки эта книжка — единственное мое спасение и в смысле спасения души и в смысле спасения от голода...»

ПОТРЯСЕНИЕ

Гаршин начал свою литературную деятельность как раз в тот период, когда борьба народников с самодержавием вступила в наиболее острый и напряженный период. В эти годы народники создали свою организацию «Земля и воля», вскоре распавшуюся на «Черный передел» и Народную волю». Эта пора отмечена в истории деятельностью группы террористов. Чуткий и болезненно впечатлительный Гаршин совершенно терялся в этой напряженной атмосфере. Общая политическая обстановка тяготила его безмерно. При каждом новом террористическом акте, при каждой новой расправе правительства с революционерами он приходил в смятение.

Свой переход к террору народовольцы объясняли сперва как месть против преследований царского правительства, затем как акт обороны, но в действительности террор превратился для народовольцев в единственный метод борьбы с самодержавием. Люди, считавшие крестьянство главной революционной силой в России, на практике не смогли создать никакой массовой революционной организации. Теории народников о «героях» и «толпе», о «критически мыслящих личностях», о том, что массы сами по себе не творят историю, а лишь следуют за героями, соответствовали их практической заговорщической деятельности. Тактика народовольцев отталкивала от них народ.

Эта «теория» и тактика вредили делу революции, отвлекали внимание трудящихся от подлинно революционной борьбы с классом угнетателей. «Народники мешали рабочему классу понять его руководящую роль в революции и задерживали создание самостоятельной партии рабочего класса. ... марксизм в России мог вырасти и окрепнуть лишь в борьбе с народничеством»[1].

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938 г., стр. 13.

Было бы, конечно, неправильно думать, что Гаршин мог с марксистских позиций критически оценивать народничество и народовольчество. Но, как художник-реалист, он сознавал безнадежность борьбы с самодержавием кучки заговорщиков, без поддержки миллионного народа, и осуждал народническую тактику террора. Еще с турецкого фронта он написал матери письмо (из Ковачицы), в котором отрицательно отзывался о террористах.

Через десять дней после взрыва в Зимнем дворце, произведенного Степаном Халтуриным (которого народники заставили прекратить работу по организации революционного рабочего союза и заняться террором), 15 февраля 1888 года последовало правительственное сообщение об учреждении Верховной распорядительной комиссии, во главе с генералом графом Лорис-Меликовым. К Лорис-Меликову переходили в подчинение III отделение и корпус жандармов (а впоследствии и министерство внутренних дел). Тонкий интриган, демагог и ловкий придворный, Лорис-Меликов вскоре стал главным советчиком царя. В обращении к жителям столицы новоявленный диктатор не поскупился на высокопарные фразы, в которых содержались туманные намеки на какие-то «реформы» и даже «конституцию». Это создало ему славу либерального реформатора, начинающего будто бы новую эру правления. В либеральных кругах диктатура Лорис-Меликова получила название «диктатуры сердца».

Заигрывая с верхушкой буржуазии, Лорис-Меликов одновременно начал еще более жестоко и беспощадно, чем его предшественники, преследовать революционеров.

Гаршин был в числе тех, которые поверили, что приход Лорис-Меликова к власти знаменует новую эру справедливости и примирения.

Через семь дней после назначения Лорис-Меликова в него стрелял террорист Млодецкий. Пуля не попала в цель, граф остался в живых, а Млодецкий был схвачен и

на следующий день приговорен военным судом к смертной казни через повешение.

Выстрел Млодецкого произвел на Гаршина страшное впечатление. Взволнованно шагал Гаршин по комнате и горячо доказывал своему другу, художнику Малышеву, что террор живет уже инерцией, что он из средства превращается в цель, что терроризм кровавая ошибка. Но вместе с тем им овладела беспредельная жалость к человеку, которого ждет теперь смерть от руки царского палача.

Весь день Гаршин судорожно обращался то к одному, то к другому знакомому с вопросом: «Что будет с Млодецким? Неужели повесят?» Но в ответ все пожимали плечами и, как о чем-то само собой подразумевающемся, равнодушно говорили: «Ну, конечно, повесят!»

Гаршин страдал, как никогда.

«Жить, есть, спать, ходить с мыслью, что вот рядом готовится петля, он не мог», вспоминает Малышев.

В безумной тоске Гаршин метался по городу. Он зашел к сотруднику «Отечественных записок» Златовратскому. Тот ему очень обрадовался и заговорил о писательских новостях. Гаршин ничего не отвечал. Златовратский пристальнее вгляделся в его лицо, и у него перехватило горло — Гаршин не слышал и не понимал ни слова из того, что ему говорили, глаза его, широко открытые, смотрели странным, блуждающим взглядом, щеки горели. Он взял Златовратского за руку своей холодной и влажной рукой и с трудом произнес:

— Нет, не говорите... Все это ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — в изумлении спросил Златовратский.

— Нет, не говорите лучше... Я не могу... Надо все это остановить... Принять все меры.

Он ушел, оставив Златовратского в полном недоумении. К вечеру того же дня в возбужденном, полубольном мозгу Гаршина родилась идея — умолить всесильного диктатора пощадить жизнь стрелявшего в него террориста.

Перо дрожало в его руке, когда он крупными буквами набрасывал на двух листках почтовой бумаги горячие и до крайности наивные строки письма:

«Ваше сиятельство, простите преступника!

В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) — и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виноватых и невиноватых. Кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше.

Пишу Вам это, не грозя Вам: чем Я могу грозить ВАМ...

Вы — сила, Ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием...

Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство...

Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне,— этого мне и не нужно,— но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение

Всеволода Гаршина.

Подписываюсь во избежание предположения мистификации.

Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас ради преступника, ради меня, ради Вас, ради государя, ради Родины и всего мира, ради Бога».

Гаршин был полон огромного, всепоглощающего желания спасти человеческую жизнь, ему хотелось верить, что можно убедить, умолить диктатора в необходимости «примирения» и «всепрощения».

Казнь должна была совершиться на следующий день, и Гаршин боялся, что диктатор не успеет получить его письма. Он решил отправиться к Лорис-Меликову лично, вру-

чить ему свое послание и во что бы то ни стало добиться свидания, чтобы устно, новыми доводами, смягчить его сердце и добиться отмены казни.

Поздно ночью Гаршин явился в резиденцию Лорис-Меликова и попросил дежурного офицера передать визитную карточку спавшему вельможе. Настойчивость посетителя, его необычный вид, возбужденное состояние и решительность, с которой он добивался свидания, подействовали на офицера, и он решил доложить о странном посетителе всемогущему диктатору. Было ли знакомо Лорис-Меликову имя популярного писателя или необычайный визит просто заинтересовал его,—он решил принять Гаршина. Предварительно жандармы подвергли писателя тщательному обыску, раздели его донага, осматривали даже под ногтями, нет ли там яду, и продержали в напряженном состоянии несколько часов.

Наконец Гаршин был допущен к Лорис-Меликову.

О встрече этих двух людей сохранились отрывочные и вряд ли точные сведения. По воспоминаниям друзей, картина рисуется примерно таким образом. Сначала Гаршин пытался горячо доказывать диктатору, что было бы гуманно и даже полезно для самого правительства помиловать Млодецкого, тем более, что покушение не удалось. Лорис-Меликов с достоинством знатного вельможи, снисходящего к болезненно возбужденному писателю, пришедшему за милосердием, стал уверять Гаршина, будто прощение Млодецкого зависит не от него, а от государя, что казнь Млодецкого защищает высшие принципы государства, ибо терроризм нужно пресекать сильной рукой.

Дальнейшие воспоминания по поводу этого свидания разнообразны и противоречивы, однако все сообщения сходятся на том, что Гаршин напряг все свои силы, изыскивая всяческие доводы, пытаясь умолить диктатора пощадить жизнь осужденного. Лорис-Меликов использовал все свои актерские способности, чтобы успокоить взволнованного посетителя, и в конце концов пообещал ему, если

не окончательно помиловать Млодецкого, то, по крайней мере, отложить казнь и пересмотреть дело.

Гаршин вернулся домой рано утром в сильнейшем волнении. Обещания Лорис-Меликова он принял с восторгом. Он не сомневался в искренности всемогущего диктатора. Сердце его переполнялось радостью при мысли, что Млодецкий будет спасен и казнь не состоится.

В приподнятом настроении, торопясь и сбиваясь, рассказал он своему другу и соседу по комнате Малышеву о приключениях минувшей ночи, осыпал похвалами Лорис-Меликова и с горячностью доказывал Малышеву, что прощение Млодецкого начинает новую эру в стране — эру всеобщего примирения и всепрощения.

Восторженный и сияющий вышел Гаршин на улицу и направился на Семеновский плац, где должна была состояться казнь Млодецкого, теперь отмененная благодаря его заступничеству.

Приближаясь к площади, он вдруг увидел толпу. Сердце его сжалось ужасным предчувствием. Он приблизился — и сомненья исчезли. На площади казнили Млодецкого...

Расширенными от ужаса глазами глядел Гаршин, как увозили с площади мертвое тело. Потрясение было слишком велико. Гаршин как бы одеревянел. Мысль, что он гнусно обманут, что ласковые, возвышенные речи диктатора оказались лишь пошлой комедией, была нестерпима.

В безумной тоске он целый день без цели метался по улицам. Охрипший, с глазами, налитыми слезами, Гаршин явился под вечер на квартиру, снимаемую группой писателей, среди которых был Глеб Успенский. «Он рассказывал какую-то ужасную историю, — вспоминал Успенский, — но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову», пока кто-то из близких не увез его домой.

Видение казни преследовало Гаршина днем и ночью. Он не находил себе покоя. Больные нервы не выдержали на-

пряжения. Страшная, жестокая действительность сломила хрупкие надежды кроткого и нежного сердца. Впереди маячила мрачная бездна безумия. Гонимый надвигающимся недугом, Гаршин уехал в Москву. Здесь больной писатель вновь в смертельной тоске метался по городу. Временами он увлекался широкими планами, мечтал о поездке по разным местам России, собирался ехать в Болгарию, предполагал издать сборник рассказов под общим названием «Страдания человечества».

Им овладело желание вновь посетить кого-нибудь из сильных мира сего и убедить его в необходимости политики «мира и всепрощения». Он почему-то наметил для этого московского оберполицмейстера Козлова. Чтобы повидать полицмейстера, Гаршин выбрал также не совсем обычный путь. Однажды вечером он забрался в публичный дом, стал щедро угощать его обитательниц, а когда пришла пора расплачиваться, — отказался платить. Вызвали полицию, составили протокол и странного посетителя отправили на извозчике в участок. По дороге Гаршин выбросил на мостовую имевшиеся при нем двадцать пять рублей.

В участке он стал требовать личного свидания с полицмейстером и в конце концов добился своего. Подробности разговора Гаршина с полицмейстером неизвестны. но, повидимому, писатель пытался изложить ему те же мысли, что и Лорис-Меликову. Вряд ли бравый полицмейстер что-либо понял из сбивчивых речей полубезумного писателя. Он понял только, что имеет дело не с преступником, а со странным человеком, и отпустил его.

Неожиданно Гаршин уехал из Москвы в Рыбинск, где стоял его полк, получил причитающиеся ему сто рублей подъемных денег и тут же зачем-то истратил их на покупку нового костюма, а бывший на нем костюм подарил коридорному в гостинице.

Из Рыбинска Гаршин вновь вернулся в Москву. Гнетущая тоска все усиливалась. Его старый друг Афанасьев, у



В. М. Гаршин. 1884—1885 гг.

которого он жил, не знал, как помочь несчастному гостю. Он проводил с ним все свободное время, старался его развлечь, но все было напрасно.

Гаршин не находил покоя. Внезапно ему захотелось уехать в Харьков, к родным. Может быть, под родным кровом, в окружении близких, ему станет легче?

Чтобы достать денег на билет, пришлось заложить часы и кольцо. Но вместо того, чтобы купить билет, Гаршин истратил деньги на приобретение совершенно ненужных ему вещей. Лишь с помощью Афанасьева он купил билет до Тулы, где рассчитывал получить от матери деньги на дальнейшую дорогу.

Душевная драма Гаршина, его болезненная восприимчивость к страданиям людей, возбужденное состояние и горячность заставляли окружающих думать, что перед ними человек, потерявший рассудок. Но Гаршин испытывает душевные муки совершенно особого свойства, непонятные окружающим. И эта нота взаимного непонимания болезненно звучит в интереснейшем и чрезвычайно важном для понимания натуры Гаршина письме, посланном из Тулы другу его Герду. Письмо было написано в момент, когда многие уже считали Гаршина безумным и расценивали его поступки, как поступки душевнобольного.

«Не знаю, — пишет Гаршин, — вам, может быть, не приходилось в минуту отчаянья найти правду, к которой я стремился, что было сил всегда, как только начал сознавать и понимать; вам, может быть, не приходилось надевать себе петлю на шею и потом, — что всего страшнее, — снимать ее. Я не знаю, доходили ли вы в острые периоды развития до таких минут, но я верю, да, пожалуй, даже чувствую, пожалуй, и знаю, что не легко далось вам то сравнительное душевное спокойствие, каким вы обладали всегда, когда я знал вас. Володя старше меня на полгода, но жизнь его текла все-таки ровнее, чем моя. Она не давала ему medicamenta heroica, как мне. Этим, и толь-

ко этим я объясняю то обстоятельство, что даже Володя, который понимает меня с полуслова, почти ничего не понял из моего поведения 15—25 февраля. Он думал даже, что со мною повторяется старая история 1872 года, что я схожу с ума... господи! да поймут ли, наконец, люди, что все болезни происходят от одной и той же причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество! Причина эта — неудовлетворенная потребность. Потребность умственной работы, потребность чувства, физической любви, потребность претерпеть, потребность спать, пить, есть и так далее...»

В период, когда было написано это письмо, когда поведение Гаршина вызывало у окружающих лишь удивление и жалость, он продолжал работать над одним из самых сильных своих и творчески зрелых рассказов. То, что мы теперь знаем как рассказ «Денщик и офицер», было им задумано как первая часть громадной эпопеи «Люди и война». В том же письме Герду, которое приведено выше, Гаршин пишет: «Я никогда за двадцать лет не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Работа кипит свободно, легко, без напряжения, без утомления. Я могу всегда начать, всегда остановиться. Это для меня просто новость...»

Так писатель, объявленный окружающими безумным, продолжал работу над рассказом, который, помимо его чисто литературных достоинств, мог бы служить образцом реалистической новеллы. По простоте, логичности и понятности изложения, по остроте и значительности содержания рассказ, безусловно, — одно из лучших произведений этого жанра в русской литературе.

Буржуазные литературоведы и критики, а также некоторые биографы Гаршина, тщательно подбирая и описывая его «нелогичные» с точки зрения «нормального» обывателя поступки в этот период, особенно упирали на фактор «сумасшествия», на тяжелую наследственность, на природное предрасположение к душевной болезни.

Быть может, специалист-психиатр нашел бы «логическое» объяснение «нелогичным» поступкам Гаршина с медицинской точки зрения, наклеив на них латинские названия. Но если поведение Гаршина обдумать глубже, поставить в связь с социальной средой, его окружающей, если представить себе жестокий конфликт между нежной, восприимчивой натурой писателя-гуманиста и мрачной, жестокой и грубой действительностью, то многое в действиях писателя предстанет совсем в другом свете.

Гаршин в описываемый нами период был потрясен казнью Млодецкого и фарисейством Лорис-Меликова. Его слезы, экзальтация, эксцентричные поступки безусловно могли заставить окружающих считать его безумным. Между тем, он по-своему, по-гаршински, был логичен. Он не мог спокойно лицезреть зло, он хотел с ним бороться. Его методы — донкихотские, наивные, но они ему казались единственно возможными и правильными. Его разговор с Лорис-Меликовым и обращение к диктатору с просьбой о помиловании приговоренного к смерти не так уж необычны для той эпохи. Вспомним обращения Льва Толстого и Владимира Соловьева к Александру III с просьбой о помиловании террористов — участников дела 1 марта 1881 года.

Толстой писал тупому жандарму — Александру III: «...Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола...»

Нетрудно видеть, как много сходного в поступках Толстого и Гаршина, даже в самом стиле их писем. Сходство можно найти и в том, что обращение Толстого, как и обращение Гаршина, конечно, не дало никакого результата.

Гаршин упорно и энергично продолжал действовать по раз избранному им пути. Его беседа с московским полицмейстером — логическое продолжение разговора с Лорис-Меликовым. Неудача этой второй попытки его не останав-

ливает, он хочет ехать по городам и селам с проповедью любви и всепрощения, чтобы противопоставить политике меча и крови проповедь добра и мира. В этих устремлениях Гаршина многое напоминает будущее учение Толстого, как раз в этот период переживавшего тяжелый душевный кризис, результатом которого явилась знаменитая «Исповедь».

Наиболее правильно и тонко, по нашему мнению, к истолкованию личности Гаршина подошел замечательный русский писатель Антон Павлович Чехов. В новелле «Припадок» Чехов в блестящей художественной форме издевается над «медицинским» истолкованием порывов души экзальтированного идеалиста.

Студент Васильев в первый раз в жизни попадает в публичный дом. Он потрясен и возмущен чудовищным насилием над женщиной, совершаемым под защитой закона. Студент Васильев, под именем которого в рассказе выведен Гаршин, не может спокойно жить, когда рядом совершается чудовищное преступление.

«Кто-то из приятелей сказал однажды про него, что он талантливый человек. Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особенный талант—ч е л о в е ч е с к и й. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он плачет; около больного он сам становится больным и стонет; если видит насилье, то ему кажется, что насилье совершается над ним, он трусит, как мальчик, и, струсив, бежит на помощь. Чужая боль раздражает его, возбуждает, приводит в состояние экстаза и т. п.».

Васильев хочет спасти несчастных женщин; он напрягает свою фантазию и представляет себя то братом падшей женщины, то отцом ее, и это приводит его в ужас. Он перебирает в памяти все известные ему случаи попыток

«спасения» этих несчастных женщин, но все они неизменно кончались неудачей. Васильев приходит к выводу, что нужно обратиться с проповедью не к женщинам, а к мужчинам. Он решает на следующий день встать в переулке, где помещается публичный дом, и к каждому прохожему обращаться с укором: «Куда и зачем вы идете? Побойтесь вы бога!»

Он представляет себе, как он обратится к равнодушным извозчикам и скажет им: «Зачем вы тут стоите? Отчего вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад! Отчего же вы молчите? Правда, они вам чужие, но ведь у них есть отцы и братья, точно такие же, как вы...»

Вдохновение охватывает Васильева. Он радуется, что решил для себя вопрос и нашел путь уничтожения зла.

Но вскоре экстаз его погас. Васильеву делается ясно, что мир зла слишком велик и ему не по силам победить его в одиночку. И тогда его душу охватывает тупая, беспредметная, похожая и на тоску и на страх, боль. День и ночь тоска и ноющая боль преследуют студента. Наутро приятели нашли его в разодранной рубахе, с искусанными руками. Он метался по комнате и стонал.

Чтобы избавиться от невыносимых страданий, Васильев согласился, по совету друзей, пойти к психиатру.

Доктор учинил Васильеву унизительный и бессмысленный допрос: он спрашивал, не было ли у него в молодости тайных пороков, ушибов головы, увлечений, странностей и т. д. Этот допрос возмутил студента до глубины души, — он полон высокого горения, его мозг ищет путей спасения людей от зла и преступлений, а доктор с равнодушием профессионала регистрирует лучшие порывы его души медицинскими терминами.

«Может быть, все вы и правы! — говорит Васильев, поднимаясь и начиная быстро шагать из угла в угол. — Может быть! Но мне все это кажется удивительным! Что

я был на двух факультетах — в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что у меня душа болит, за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют».

Слова Васильева нисколько не тронули доктора. Он с многозначительным и понимающим видом дал ему попить капель и прописал два рецепта — бром и морфий.

Трудно дать более яркий, исчерпывающий и правдивый образ Гаршина, чем это сделал Чехов в своей короткой новелле.

Еще в Петербурге, после казни Млодецкого, Гаршин говорил друзьям, что ему необходимо повидаться с Толстым, разрешить в беседе с великим писателем мучившие его вопросы.

Сейчас, находясь в Туле, недалеко от имения Л. Н. Толстого, Гаршин устремился к нему. Он нес Толстому свои планы переустройства жизни и спасения людей от зла и несправедливости.

Вращаясь в кружках петербургских литераторов, Гаршин, повидимому, слыхал, что Толстой переживает глубокий внутренний кризис, и это еще больше усиливало его желание поведать писателю свои мысли и сомнения.

Семья Толстых сидела в зале за большим столом и обедала, когда лакей доложил Льву Николаевичу, что внизу дожидается какой-то мужчина.

Толстой поднялся и вышел к посетителю. В передней стоял бедно одетый молодой человек и смотрел на него огромными, прекрасными глазами. На губах неизвестного играла улыбка.

Лев Николаевич удивленно спросил:

— Что вам угодно?

— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки, — ответил странный посетитель и вновь улыбнулся.

Илья Львович Толстой в своих воспоминаниях образно описывает эту сцену: «Никак не ожидавший такого ответа, папа в первую минуту как будто даже растерялся. Что за странность? Человек трезвый, скромный на вид, повидимому, интеллигентный, что за дикое знакомство? Он взглянул на него еще раз своим глубоким, пронизывающим взглядом, еще раз встретился с ним глазами и широко улыбнулся.

Улыбнулся и Гаршин. Как ребенок, который только что наивно подшутил и смотрит в глаза матери, чтоб узнать, понравилась ли шутка.

И шутка понравилась.

Нет, конечно, не шутка, а понравились глаза этого ребенка — светлые, лучистые и глубокие. Во взгляде этого человека было столько прямоты и одухотворенности, вместе с тем столько чистой, детской доброты, что, встретив его, нельзя было им не заинтересоваться и не пригреть его».

Лев Николаевич приказал лакею подать водки и какой-нибудь закуски и попросил Гаршина снять пальто и войти в кабинет.

— Вы, верно, озябли? — ласково сказал он, внимательно вглядываясь в гостя.

Выпив рюмку водки и закусив, Гаршин назвал свою фамилию и сказал, что он «немножко» писатель.

По письмам Тургенева можно установить, что Толстой уже слышал о писателе Гаршине и даже, по совету Тургенева, прочел его первые рассказы. Скромность Гаршина его тронула.

Он с интересом отнесся к своему странному гостю. Талант Гаршина, его личное участие в войне, взволнованные поиски правды жизни, горячие, трогательные речи о необходимости всеобщего примирения и всепрощения, так гармонировавшие с глубокими личными переживаниями самого Толстого, вызвали в великом писателе симпатию и сочувствие.

Толстой со своим собеседником уселись на кожаном диване, а жена и дети разместились вокруг, с жадным любопытством вслушиваясь в интересную беседу.

Ни сам Лев Николаевич Толстой, ни его домашние не заметили в поведении Гаршина ничего ненормального. Гость говорил лишь слишком уж горячо и образно и, пожалуй, слишком много. Тема разговора все больше захватывала Гаршина, и под конец он говорил, не умолкая, с горящими щеками и сверкающими глазами.

Гаршин остался ночевать у Толстых и большую часть ночи провел в беседе со Львом Николаевичем. Содержание этого разговора известно по отрывистым рассказам самого Гаршина и по воспоминаниям Л. Н. Толстого, много лет спустя. Лишь в общих чертах можно представить себе сущность этой беседы. Так, рассказывая однажды писателю Бибикову о своем посещении Ясной Поляны, Гаршин говорил, что он приехал к Толстому поделиться своими планами об устройстве всемирного счастья. Толстой ободрил его, и он ушел от великого писателя убежденным в необходимости своей высшей миссии. Купив у крестьянина лошадь, он поехал верхом по Тульской губернии с проповедью об уничтожении зла.

Некоторые подробности этого посещения можно почерпнуть из опубликованной уже в советское время работы С. Дурылина, посвященной этому эпизоду. По просьбе Дурылина один из друзей Толстого и редактор издательства «Посредник», И. И. Горбунов-Посадов, расспросил в 1906 году самого Льва Николаевича Толстого об этой встрече и записал то, что Толстой ему рассказал.

Лев Николаевич, по словам Горбунова, не мог вспомнить всех подробностей своего разговора с Гаршиным, так как это был период его собственного большого внутреннего напряжения. Из свидания с Гаршиным он вынес впечатление, что настроения Гаршина были очень созвучны его собственным переживаниям. По словам Толстого, визит

Гаршина был ему приятен. Он почувствовал, что не одинок в своих поисках правды, что и другие также ищут нравственного оправдания жизни. В словах Гаршина, когда он говорил ему об ужасе жизни, о насилии, на котором она вся построена, о казнях и войне, о небходимости отказаться от насилия, Лев Николаевич слышал как бы юношеское повторение своих собственных мыслей, которые тогда еще не были широко известны. Гаршин был полон планов служения добру. Основа этих планов, как вспоминал Толстой, была та, что «нужно всепрощение, чтобы освободить жизнь от зла», и что «истинное всемирное счастье наступит лишь тогда, когда каждый выбросит насилие из своей жизни сам и поставит своей целью всюду и всех склонять к тому же. Нужно каждому начать с себя, — это первое и главное».

В этой записи Горбунова-Посадова, убежденного толстовца, сделанной через двадцать пять лет после посещения Гаршиным Льва Толстого, нам кажется, многие мысли, характерные для Толстого, приписаны Гаршину, тем более, что, по словам того же Горбунова, Толстой не помнил всех подробностей разговора. Во всяком случае, бесспорным остается то, что Гаршин, содрогавшийся при виде жестокости и насилия, искал путей примирения, всепрощения, что в известной мере действительно сближало его со Львом Толстым.

Наутро Гаршин уехал. Разговор с великим писателем, повидимому, еще больше укрепил в сознании Гаршина правоту выбранного им пути. В возбужденном мозгу созрела мысль о необходимости итти проповедывать народу свои идеи уничтожения мирового зла.

Вскоре в деревнях и селах Тульской и Орловской губерний появилась странная фигура красивого барина с бледным лицом и горящими глазами. Пешком, иногда верхом блуждал он из деревни в деревню, проповедуя необходимость прощения и любви, как средства борьбы с ми-

ровым злом. Через несколько дней он вновь появился в Ясной Поляне, но Льва Николаевича и Софьи Андреевны уже не застал. В доме находились лишь дети, их гувернеры и прислуга.

Гаршин подъехал к дому Толстых верхом на неоседланной лошади. Вид он имел растрепанный, измученный и, сидя на лошади, разговаривал сам с собой. Подъехав к дому, он взял лошадь под уздцы и попросил у домашних Толстого карту России.

На вопрос удивленных слуг и детей, зачем она ему нужна, он объяснил, что хочет посмотреть, как проехать в Харьков. При этом он заявил, что хочет ехать туда верхом.

Домашние не стали перечить, достали карту, помогли ему разыскать Харьков и определить маршрут. Гаршин поблагодарил, попрощался и уехал.

Татьяна Львовна Толстая, которой было тогда пятнадцать лет, запомнила этот необычайный визит. В своей книге воспоминаний она посвящает второму приезду Гаршина (Татьяны Львовны не было дома, когда Гаршин приезжал в первый раз) несколько строк:

Гаршин «приехал из Тулы верхом на лошади, отнятой у извозчика, — пишет она. — Отца с матерью не было дома; наши преподаватели и преподавательницы и прислуга были приведены в недоумение появлением этого странного молодого человека. Никто его не пригласил в дом, и я помню, с каким страхом и смущением я смотрела на эту красивую, безумную фигуру без шапки, на неоседланной лошади, когда он ехал обратно по березовой аллее и сильно размахивал руками, что-то декламируя».

Гаршин направлялся в Харьков, но по дороге решил заехать в имение «Окуневы горы», принадлежавшее его дальним родственникам (Николаю Федоровичу Костромитину, женатому на сестре отца Гаршина, Александре Егоровне); здесь он бывал летом 1878 года.

В состоянии чрезвычайно возбужденном Гаршин со станции Ливны Орловской губернии пешком направился в «Окуневы горы» и по дороге в одежде переплыл речку во время ледохода... Дальнейшие следы его теряются. Гаршин исчез...

«САБУРОВА ДАЧА»

Мать и брат с нетерпением ждали Гаршина в Харькове, но время шло, а он не приезжал. Последнее письмо от него пришло из Тулы, и обеспокоенные родные решили запросить тульского полицмейстера о судьбе писателя. Вскоре они получили ответ: «Всеволод Гаршин проживал в гостинице, взял наемную верховую лошадь и, оставив в гостинице все свои вещи, исчез, неизвестно куда».

Сомнений больше не было: с Гаршиным случилась беда. На поиски писателя выехал его младший брат Евгений. Ему пришлось разыскивать Гаршина по всей Тульской и Орловской губерниям. Через несколько дней он нашел его у каких-то орловских помещиков и привез домой в Харьков. На родных состояние Гаршина произвело чрезвычайно тяжелое впечатление. Сам же Гаршин был в приподнятом настроении, близком к экзальтации, лихорадочно жаждал деятельности. Он был целиком захвачен мыслями об уничтожении мирового зла, которые впоследствии с такой силой изложил в своем рассказе «Красный цветок».

Ранней весной 1880 года в маленький двухэтажный флигель на Подгорной улице в Харькове явился близкий друг Гаршина — Фаусек.

«Я пришел к Гаршину часов в восемь вечера, — рассказывает Фаусек, — и не застал Всеволода; он давно уже ушел куда-то и все еще не возвращался. Его родные стали рассказывать мне подробности его заболевания и его похождений. Мне не хотелось уходить, не дождавшись и не увидевшись со Всеволодом... Долго мы сидели за самова-

ром; время шло, а Всеволода все не было; уже совсем свечерело и на дворе стояла темная, пасмурная, весенняя ночь. Его хотели дождаться с чаем; всем нам было жутко; мы и так были возбуждены, а его долгое отсутствие заставляло невольно беспокоиться. Где он? Уж не сотворил ли чего-нибудь? Вдруг я услышал резкий и быстрый стук в окошко, у которого я сидел; оглянулся — и при свете лампы, стоявшей на столе, с трудом разглядел Всеволода. Он проходил по двору, увидел меня в освещенное окошко и застучал мне, весело улыбаясь и оживленными жестами выражая мне приветствие. Через минуту он вбежал в комнату и стал шумно выражать мне, как рад меня видеть. Я не узнал того Всеволода, с которым простился осенью на Харьковском вокзале.

Он похудел и сильно загорел на мартовском солнце и ветре во время своих скитаний по Тульской и Орловской губерниям. Он стал совсем какой-то черный от загара. Глаза его горели, как уголья; выражение тайной грусти, обыкновенно светившееся в них, исчезло. Они сияли теперь радостно, возбужденно и гордо. И весь он был так странно оживленный и счастливый, каким я его еще не видал».

Фаусек пробыл в Харькове несколько дней, и каждый день подолгу проводил со Всеволодом. Гаршин был в состоянии крайнего возбуждения. Он говорил, не умолкая, и имел вид человека, уверенного в себе, гордого, довольного, совершенно счастливого. «Постороннему, чужому человеку, — вспоминает Фаусек, — он с первого раза не показался бы сумасшедшим, а только очень оживленным, счастливым и каким-то странным человеком».

Однажды в разговоре с Фаусеком Гаршин стал расхваливать книгу Дефо «Робинзон Крузо», уверяя, что это лучшая книга в мире, потому что она учит, что человек может довольствоваться самим собой и все делать для себя сам. Он горячо доказывал другу, что если каждый человек будет все сам для себя делать и не будет застав-

лять работать на себя других, не будет зависеть от других людей, то жить будет лучше и зла в жизни будет меньше [1].

В Харькове Гаршин работал над продолжением книги «Люди и война». Он вовсе не чувствовал себя больным; в душе его происходила примерно та же драма, которая с таким талантом описана Чеховым в его рассказе «Припадок».

Прекраснейшие порывы его души окружающие считают проявлением безумия. Самые лучшие, самые гордые, самые возвышенные его мысли встречаются скептической улыбкой или, что еще хуже, жалостью к его болезненному состоянию. В отчаянии он пишет Герду: «Я имел бы резон серьезно обидеться на вас за ваше молчание, а особенно за подозрение в сумасшествии, которое только причинило беспокойство у нас дома и очень рассердило меня на Володю. Он выкинул удивительную штуку. Ничего не понимая в моем поведении, сразу решить, что я помешан (хороша логика!), напугать мать, налгать (конечно, незлонамеренно) на меня, на себя и на всех, вообще заварить такую кашу, что брат должен был ехать отыскивать меня в Орловскую губернию. Матушка чуть не заболела, деньги

---

[1] Справедливость требует указать, что впоследствии Гаршин решительно отказался от этих мыслей. Например, в 1886 г., когда Всеволоду Михайловичу пришлось принять участие в составлении обзора детской литературы, Гаршин отрицательно отозвался о книге Дефо.

Он считал, что мораль рассказа—человек может обойтись без других людей—проникнута нехорошим, эгоистическим духом и весь рассказ есть «апофеоз индивидуализма». Он противопоставлял книгу Дефо книге французского писателя Сентино, где тема о Робинзоне обработана совершенно иначе. В книге Сентино Робинзон, под влиянием одиночества, лишенный общества других людей, томится, страдает и в конце концов превращается в зверя. Эта идея очень заинтересовала Гаршина, и он одно время хотел даже на этой фабуле построить собственный рассказ, но болезнь помешала ему осуществить свое намерение.

истрачены даром, и я недели две был взбешен, что со мной случается редко...»

Преследуемый сострадательными взорами, непонятый, все более и более экзальтированный, Гаршин пробыл в Харькове около трех недель и, наконец, не выдержав, исчез из города.

Накануне бегства он написал Надежде Михайловне Золотиловой (в кругу близких друзей она уже считалась его невестой) письмо — трогательное, ласковое и в то же время деловое.

Свой отъезд он объясняет тем, что в Харькове жить без нее не может, а в Петербург ехать не решается, так как боится помешать ей учиться.

Он сообщает любимой девушке о планах повести «Люди и война». В дальнейших главах он собирается описать казака, его призыв, службу в Петербурге и уход на войну. В голове Гаршина теснятся образы будущей книги. Он жаждет дальнейшей работы, хочет поскорее осуществить свои литературные планы. Он просит, чтобы Золотилова сообщила ему мнение литературных друзей о первой части задуманного им большого романа (опубликованного под названием «Денщик Никита»). Письмо заканчивается стихами:

Где мое солнышко красное,
Где твое личико ясное?
Скоро ль увижу мой свет?
Скоро ль услышу привет
Милой подружки моей?
Время, лети поскорей!

Новое исчезновение Всеволода всполошило весь дом Гаршиных. Вскоре было получено сообщение, что он находится в Орле, в больнице для душевнобольных.

Оказалось, что, когда Гаршин приехал в город, его странное поведение, горячие, непонятные речи обратили

на себя внимание полиции. Писатель был схвачен, опутан веревками и доставлен в больницу для умалишенных.

Обстановка провинциального сумасшедшего дома в те годы мало чем отличалась от тюрьмы, а по жестокости обращения с больными, пожалуй, ее превосходила. Ввергнутый в Орловскую больницу, Гаршин на этот раз действительно серьезно заболел.

Узнав о судьбе брата, Евгений Гаршин снова отправился за ним. Состояние Гаршина было очень тяжелым. Его пришлось везти в Харьков связанным, в отдельном купе, а по приезде направить в Харьковскую больницу для душевнобольных, на так называемую «Сабурову дачу».

Любопытно вспомнить, что ровно за год до того, в апреле 1879 года, когда Гаршин гостил в Харькове, ему вдруг захотелось ознакомиться с этой больницей. Он никогда не был медиком, но вместе со студентами начал ходить на «Сабурову дачу» слушать лекции по психиатрии и «разбирать больных». Он как будто чувствовал, что ему когда-нибудь придется здесь очутиться, и хотел в здоровом состоянии изучить недуг, который страшной угрозой висел над ним всю жизнь.

Что представляла собой «Сабурова дача» в то время?

В одном из писем к Салтыкову-Щедрину Екатерина Степановна Гаршина говорит, что эта лечебница «скорее может быть названа местом предупреждения и пресечения, чем больницей» и что больному писателю по совершенно бессмысленной жестокости не давали ни бумаги, ни карандаша, ни газет под предлогом необходимости парализовать его умственную деятельность. Сам Гаршин во время пребывания в больнице был в состоянии удивительного раздвоения. Он прекрасно сознавал окружающее, узнавал близких и знакомых и мучился за свое поведение. Уже будучи здоровым, Гаршин с болью вспоминал малейший свой безумный поступок, стыдился его и от этого страдал еще сильнее.

О подобном состоянии он рассказывал как-то своему другу Фаусеку. Это происходило в первый приступ болезни, когда ему было семнадцать лет и он находился в лечебнице доктора Фрея. Однажды Гаршин вышел во двор погулять и, увидев стул, опрокинул его и начал толкать перед собой. В больном сознании стул стал постепенно превращаться в плуг. Вдруг он вспомнил, что китайский император — об этом он где-то читал — в определенный день в году собственноручно совершает обряд вспашки земли. И вот Гаршин уже представляет себя китайским императором, идущим за плугом. Но при этом ни на минуту не забывает, что он — Гаршин и что в руках его совсем не плуг, а всего лишь стул.

Другой случай, показывающий эту страшную раздвоенность, произошел на «Сабуровой даче» в Харькове. В мае больного посетили брат Гаршина, Евгений, и приятели его, доктор Попов и Фаусек. Они нашли его в большом саду больницы. Гаршин всех узнал и приветливо встретил. Он брал то одного, то другого под руку и торжественно рассказывал о каких-то важных и таинственных предприятиях, которые он якобы затевает, о могущественных врагах, подстерегающих его на каждом шагу, о каком-то князе, с которым у него должна быть дуэль, и сердца его друзей сжимались бесконечной жалостью к любимому и дорогому человеку.

Вдруг внимание Гаршина привлекли очки Фаусека. Он попросил и надел их. Зрение у него было хорошее, и в очках ему было неудобно. Он отодвигал их на самый кончик носа, придвигал к глазам, забавляясь, как ребенок. Неожиданно он заметил, что Фаусеку без очков очень не по себе. Он пожалел его и решил поделиться с ним очками: переломил оправу, одну половину очков отдал Фаусеку, а другую оставил себе.

Через два года, уже совершенно здоровый, возвращаясь из Ефимовки в Петербург, Гаршин заехал в Харьков.

Родных уже тогда в Харькове не было, и Гаршин пробыл два дня в гостях у Фаусека. Конечно, Фаусек и не думал напоминать Гаршину о болезни. Но как только гость умылся и переоделся с дороги, он сейчас же сконфуженно обратился к хозяину с извинением: «Я еще должен вам очки купить».

Томясь на «Сабуровой даче», больной Гаршин в первые же минуты относительного просветления попросил свидания с невестой. Родные Гаршина написали об этой просьбе Золотиловой, и она немедленно приехала в Харьков. Однако состояние Гаршина к этому времени настолько ухудшилось, что врач категорически запретил ему какие бы то ни было свидания с родными.

Надежда Михайловна провела в Харькове мучительный месяц. Дача Гаршиных была расположена рядом с «Сабуровой дачей». Несчастная девушка с тоской глядела на крепкие стены больницы в надежде, что где-нибудь в окне она увидит хоть силуэт любимого человека. Надежды эти так и не сбылись. Наконец, измученная тщетными ожиданиями, она уехала обратно в Петербург.

На «Сабуровой даче» Гаршина часто посещал его приятель и хороший знакомый Золотиловой, молодой врач Петр Гаврилович Попов. Свои посещения он подробно описывал в письмах к невесте писателя.

По рассказам Попова можно до некоторой степени представить себе состояние Гаршина в этот период. Впервые Попов посетил больного писателя 11 июня 1880 года. Сначала Гаршин показался ему вполне здоровым. Но это длилось не больше минуты. Гаршин начал говорить не умолкая, постепенно возбуждаясь все больше и больше, и фразы его потеряли смысл. В конце концов Попов уже ничего не понимал. Он покинул больного глубоко удрученный. Во время последующих посещений состояние писателя было еще хуже. Если вспомнить о раздвоенности сознания Гаршина, о чередовании периодов просветления, когда он

сознавал все окружающее, и периодов безумия, можно представить себе ту бездну страдания, в которую был ввергнут несчастный писатель.

Позднее в рассказе «Красный цветок» Гаршин с огромной реалистической силой воссоздает все обстоятельства своего пребывания на «Сабуровой даче». Описание сумасшедшего дома дано в этом рассказе не только с потрясающей художественной выразительностью, но, как отмечали психиатры, с клинической точностью. Эта новелла могла бы служить художественной иллюстрацией к лекции профессора по психиатрии.

«Это было большое каменное здание старинной казенной постройки, — описывает Гаршин. — Две большие залы, одна — столовая, другая — общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянной дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты: одна — обитая тюфяками, другая — досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами—ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимою, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу, окном; стены и своды были выкрашены темнокрасною масляною краской; в по-

черневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою, ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведующий ваннами сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачной физиономией увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно системе лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он вырывался из рук нескольких сторожей, сбрасывая их на пол; наконец, четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная, отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представление, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

— Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух — нет, о, нет!

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову,

произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

— За что? За что? — кричал он. — Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о!.. О, господи!.. О, вы, мучимые раньше меня. Вас молю, избавьте...

Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

— Ничего не поделаешь, — сказал производивший операцию солдат, — нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!» подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон».

Это описание дает полное представление об обстановке и нравах «Сабуровй дачи». Здесь ничего не выдумано. Однажды Гаршин рассказал своему сослуживцу Васильеву некоторые эпизоды из своего пребывания в этом страшном доме, и они совершенно совпали с тем, что описано в «Красном цветке». Страдания и ощущения героя гаршинского рассказа были испытаны самим автором. Он рассказывал тому же Васильеву, например, такой эпизод. Как-то раз служитель готовил Гаршину ванну, а он в ожидании стоял раздетый у окна и о чем-то мечтал. Ему вспомнилось

детство, проведенное в доме родителей под наблюдением матери, представлялось и одиночество в мрачном углу этой больницы, освещенной одним окном, глядевшим в глухую стену, защищенным железной решеткой. Вдруг сильный удар в грудь сбил Гаршина с ног, и он упал на пол без памяти. Это было «напоминание» геркулеса-служителя о ванне. «За что ты меня ударил? — очнувшись, обратился к нему несчастный Гаршин. — Что я тебе сделал?..» Но служитель не обратил никакого внимания на его вопрос.

«Если бы представился выбор между больницей и каторгой, — заключил свой рассказ Гаршин, — то я предпочел бы пойти года на три в каторгу, чем на один год в больницу».

Прошло лето; к августу в состоянии Гаршина наступило некоторое улучшение. По совету врачей решено было везти больного в Петербург, в частную лечебницу доктора Фрея, где Гаршин уже однажды лечился и где обстановка была более терпимой, нежели в «Сабуровой даче». В сентябре Гаршина перевезли в Петербург. В новых условиях он начал постепенно поправляться. Однако это не было полным излечением: болезненное возбуждение сменилось тяжелой, гнетущей депрессией.

В ДЕРЕВНЕ

Осенью 1880 года Гаршин с врачебной точки зрения был уже здоров, но состояние его духа было очень угнетенным. Он без причины плакал, вздыхал и предавался бесконечной тоске. Доктор разрешил ему иногда посещать родных и невесту. Гаршин приходил к Надежде Михайловне, которая жила тогда в Петербурге вместе с сестрами, и весь вечер просиживал молча, с грустной, апатичной улыбкой на красивом исхудалом лице. Молодая девушка была в отчаянии. Она оказалась совершенно не способной трезво оценить состояние Гаршина и по-женски была глубоко

оскорблена его поведением. Она видела, что ее общество, утешения и ласки не действуют на него, что он сознательно воспринимает окружающее, но равнодушен ко всему и удручен. В душе она решила, что Гаршин больше ее не любит. Постепенно в отношениях молодых людей наступило охлаждение.

Вскоре Евгений, брат Гаршина, по совету врача решил перевезти его из больницы домой, в Харьков.

В Харьков Гаршин приехал в ужасном виде. Он был в состоянии полнейшей апатии, прерываемой иногда беспричинными слезами. Таким его застал дядя Владимир Степанович Акимов. Состояние племянника глубоко обеспокоило его, и он предложил Гаршину переехать к нему в имение, в Херсонскую губернию. Владимир Степанович надеялся, что в новой обстановке, среди природы, Гаршин скорее поправится и придет в спокойное состояние. В своих воспоминаниях Акимов намекает на какие-то обстоятельства семейной жизни в Харькове, которые мешали выздоровлению Гаршина и которые надо было устранить. По-видимому, намеки эти относятся к взаимоотношениям Гаршина с матерью.

Мать Всеволода Гаршина, Екатерина Степановна, играла в жизни писателя и положительную и отрицательную роль. Женщина по характеру своему властолюбивая и деспотичная, она проявляла свою любовь к сыну крайне неровно. Она отдавала ему свои, заработанные тяжелым трудом, деньги, заботилась о его судьбе, карьере, но каждая встреча матери с сыном приводила к ссорам и тяжелым недоразумениям.

В этих семейных разладах значительную роль играло и отношение Гаршина к отцу. Так, например, мать писателя не могла ему простить рассказа «Ночь», в котором Гаршин в теплых выражениях описывал своего отца. Опубликование этого рассказа она считала личным оскорблением. Очевидно, ненависть к человеку, причинившему ей и ее возлюб-

ленному столько горя, не покидала ее всю жизнь и не смягчилась даже с его смертью.

Вероятно, и в воспоминаниях Акимова речь идет об очередных ссорах и недоразумениях, возникавших в семье Гаршиных.

Однако приглашение Акимова Гаршин встретил полным равнодушием. Он не стремился уехать, но и не возражал. Ко всему на свете он в этот период относился апатично.

Акимов не стал долго колебаться и, захватив Гаршина, отправился в свое имение.

Уже в вагоне настроение Гаршина начало меняться. Смена впечатлений благотворно подействовала на его психику. Больной писатель с детским любопытством стал разглядывать механические игрушки, которые Владимир Степанович вез в подарок своим детям. Механический медведь, с ревом ходивший по вагону, впервые вызвал смех у Гаршина. Механическая крысоловка заняла его воображение, и он тут же начал искать возможности применить ее к делу.

В настроении, полном надежд, дядя и племянник приехали в Ефимовку.

Гаршин как будто несколько успокоился. Постоянное пребывание на воздухе, длительные прогулки и физическая работа благотворно подействовали на него, но часто он вдруг задумывался, обводил окружающих печальным взглядом и заливался слезами. Почти каждую ночь весь дом просыпался от судорожных рыданий, слышавшихся из комнаты Гаршина.

Но постепенно состояние Гаршина начало улучшаться. Беспричинные рыдания становились реже, землистый цвет лица сменился легким румянцем.

Рано утром Гаршин вставал и до восьми часов катался на коньках, не обращая внимания на погоду. Он мог безустали пробежать на коньках чуть не десять верст. После катанья он завтракал и отправлялся к дяде в камеру (Акимов был мировым судьей), где с интересом выслушивал бы-

товые дела и записывал показания свидетелей. Перед обедом Гаршин опять отправлялся гулять или кататься на коньках, затем обедал, возился с детьми, а по вечерам играл с Владимиром Степановичем в шахматы, просматривал журналы и рано ложился спать. Такая, почти санаторная, обстановка в конце концов возымела свое действие. К весне Гаршин стал почти прежним — мягким, добродушным и веселым, — таким, каким его знали до болезни.

Мы уже говорили, что Гаршин прекрасно помнил все, даже самые мельчайшие эпизоды своей болезни. И в длинные деревенские вечера он рассказывал дяде, сам при этом содрогаясь от ужаса, о своем пребывании на «Сабуровой даче» и в лечебнице доктора Фрея, описывал нравы и порядки сумасшедшего дома, своих соседей по палате, врачей, больничных сторожей.

Известие, что Гаршин начал поправляться, обрадовало его родных и знакомых. Теперь его все чаще стали спрашивать, когда же он начнет вновь писать. Вряд ли кто-либо из его корреспондентов понимал, насколько эти вопросы ранят душу Гаршина. Он пока и мечтать не мог ни о какой литературной работе. Частые головные боли мучили его, и всякое умственное напряжение, даже писание обыкновенного письма, требовало огромных усилий.

Страх вновь заболеть преследовал Гаршина непрестанно. Воспоминания о страшных днях давили кошмаром.

«Если бы я мог писать, то я бы и писал, — отвечает он на бестактные вопросы матери.— Ведь это бессмысленно было бы, мама, не хотеть делать того, что представляется единственным светлым местом в жизни. Ведь у меня ничего за душой нет: ни на какое личное счастье я рассчитывать не могу, потому что я калека (т. е. нравственно обязан быть таковым), наживаться не умею, да и если бы и умел, то не могу захотеть наживаться, честолюбия тоже нет, да и поздно в двадцать семь лет стремиться в генеральство...»

Прошли весна и лето, надвигалась зима. Гаршин задумывается над тем, что делать дальше, как заработать на жизнь. Он был беден, а жить без конца за счет дяди не хотел. Но за что же взяться? Всеми силами души Гаршин стремился к литературе. Но ему казалось, что литературная работа вновь приведет его к болезни. «...как подумаешь о своей искалеченной голове,— пишет он в одном из писем к матери,— то так и станет страшно: а вдруг опять то же, ведь это хуже смерти...»

О том, как Гаршин относился к литературной работе и чего она ему стоила, можно судить и по отрывку из его письма к Фаусеку:

«...Писать я не могу (должно быть), а если и могу, то не хочу. Ты знаешь, что я писал, и можешь иметь понятие, как доставалось мне это писание. Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением. Писать для меня теперь— значит снова начать старую сказку и через три-четыре года, может быть, снова попасть в больницу душевнобольных. Бог с ней, с литературой, если она доводит до того, что хуже смерти, гораздо хуже, поверь мне. Конечно, я не отказываюсь от нее навсегда: через несколько лет, может быть, и напишу что-нибудь...»

В отчаянии он уже готов вернуться в свой Болховской полк, но он прекрасно сознает, что в мирное время офицер из него получится неполноценный.

Гаршин прилежно изучает английский язык и совершенствует свои знания во французском. Он надеется хоть немного зарабатывать переводами. Для практики он медленно и прилежно переводит с французского восхитившую его «Коломбу» Мериме.

Так тянутся однообразные, серые дни. Гаршин скучает, но не решается покинуть Ефимовку, несмотря на то, что

родные и друзья зовут его в Петербург. Он боится рисковать здоровьем, с таким трудом завоеванным, хотя деревенская скука порой приводит его в отчаяние.

«...А все-таки, как ни крепись, надо признаться, жутко иногда бывает здесь, — вырывается у него в письме к Фаусеку. — Особенно ночью, когда все лягут спать (я не сплю большей частью часов до двух): ветер воет (ветры здесь такие, каких я никогда не испытывал), лиман ревет, и мертвечина и пустота кругом страшная. Если читаешь что-нибудь, часто слова уходят из глаз, и начинают проходить перед тобой целые вереницы былых сцен, знакомые лица. Боже мой, как все это далеко теперь и во времени, и в пространстве! Как-то чуднó видеть себя одиноким и молчащим, того самого, который всегда отличался неистовой любовью к людской толкотне...»

В деревне Гаршин впервые вплотную столкнулся с крестьянами, с тем «народом», о котором столько говорили в народнической литературе. И двадцатисемилетний Гаршин глазами писателя-реалиста увидел то, чего сознательно не замечали народники, — приход в деревню капиталистических отношений. «...Насчет социальных стремлений, — пишет он своему другу, поэту Минскому, — так скажу, что не знаю, как в других местах, а здесь, в Херсонском уезде Херсонской губернии, с «Черным переделом» очень туго. Всякий норовит набить себе в карман «капытул» и на этот «капытул» купить земли. Земля же сия возделывается пришлыми батраками — полтавцами, черниговцами и проч. так называемыми гетманцами... все держится на отношениях хозяина и батрака».

Вывод Гаршина — «все держится на отношениях хозяина и батрака» — это, по существу, решительное отрицание народничества, «самобытности» русского крестьянства и прочих иллюзий, это признание прихода капитализма в деревню, то есть как раз то, что доказывали первые марксисты в России, выступая против народников.

Гаршин, повидимому, не знал теории Маркса и Энгельса, но, как писатель-реалист, он сумел трезво заглянуть в глубь явлений и правильно их оценить. Эта черта сближала Гаршина с Глебом Успенским.

Слово «народ» здесь, в деревне, уже перестало звучать для Гаршина отвлеченно, оно воплотилось в живых, конкретных людей. В камере мирового судьи он видел, что Петр Пономаренко — свинья и мошенник, а Конох Ерех — прекрасный человек и что их «в один и тот же «народ» сажать нет никакой возможности» [1].

Во время пребывания в Ефимовке Гаршин написал маленькую сказочку «То, чего не было».

Это чудесное, поэтическое, но очень грустное произведение, «жемчужина художественного пессимизма», как определил ее В. Г. Короленко. Сюжет сказки вкратце таков:

На лужайке в жаркий день собралась небольшая компания: улитка, навозный жук, гусеница, ящерица, кузнечик и муравей. Рядом на старом Гнедом уселись две мухи.

Вся эта компания философствует о жизни:

— По-моему, — говорит навозный жук, — порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения.

Он, навозный жук, целый день трудится, тащит огромный шар из навоза, чтобы дать возможность вырасти новым навозным жукам, и потому совесть его спокойна — он выполняет свой долг.

— Ты работаешь для себя, — отвечает муравей, — или, все равно, для своих жученят. Не все так счастливы... Попробовал бы ты потаскать бревна для казны... Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь?

---

[1] Из письма к Минскому от 10 декабря 1881 г.

Им возражает кузнечик.

— Мир — хорошая вещь. В нем есть солнце, ветерок и молодая травка. Можно попрыгать и потрещать, и совесть вовсе не будет мучить. Кроме того, мир велик; если подпрыгнуть изо всех сил, то видно, что миру нет конца.

Улитка считает, что главное в жизни — лопух. Кончится один лопух, можно переползти на другой и никуда прыгать не надо, все это выдумки.

Гусеница важно рассуждает о своем высоком призвании в жизни. Оказывается, она наедается лишь с высокой целью после смерти стать бабочкой.

Мухи, полакомившись в столовой вареньем из банки, просто довольны жизнью. Правда, их матушка увязла в варенье, но они не унывают, она уже была стара, и ей все равно время помирать.

Неизвестно, сколько бы еще философствовало собравшееся общество, какие возвышенные мысли могли бы быть высказаны, но кучер Антон, пришедший за Гнедым, нечаянно своим сапожищем наступил на всю компанию и раздавил ее.

На этом сказка кончалась.

Однажды Гаршин, конфузясь и закрывая все двери, чтобы никто из домашних не слыхал, решил прочитать Владимиру Степановичу только что написанную им сказку. Прочитав, он по лицу дяди понял, что сказка не понравилась. Тогда он стал убеждать его, что это не больше как невинная шутка, что сказка написана для детей его старого друга Герда и что он вовсе не собирается ее печатать.

Однако по секрету от дяди он переслал сказку в Петербург к родным, с просьбой показать ее некоторым его литературным друзьям. Сказочка быстро пошла по рукам и вызвала широкие толки (напечатана она была в «Устоях» лишь в апреле 1882 года). Почти все читавшие сказку, а затем и официальные литературные круги единодушно осуждали мрачную аллегорию и безнадежную философию,

которая в ней заключалась. Слишком уж беспощадно было показано в сказке все ничтожество человеческих чувств и страстей перед лицом неотвратимой и фатальной гибели.

Гаршин был смущен всеобщим неодобрением. Он сам, повидимому, понял, что философия его произведения слишком уж мрачна и фаталистична, и поспешил от нее отречься. Он стал уверять, что в сказке никакой аллегории нет, что это просто полусмешная, полугрустная история о кузнечике, мухе, жуке и кучере Антоне, — и больше ничего. «Клянусь моим свиданием с вами, — пишет он, например, Фаусеку, — мне и в голову не приходило, что за этими Антонами и мухами можно угадывать что-нибудь, кроме мух и Антона».

Между тем, родные Гаршина все настойчивее и настойчивее стали напоминать ему о необходимости дальнейшей литературной работы. Некоторые из них даже упрекали его в лени и в нежелании работать. Эти упреки для Гаршина были невыносимы. К литературе он тянулся всей душой, всеми своими нервами.

«Отдыхать» мне уже бы довольно, — жалуется он матери, — пора что-нибудь делать. Да ведь в том-то и ужас, что я не могу ничего делать. Мое умение писать унесла болезнь безвозвратно. Я уже никогда ничего не напишу. А кроме этого, на что я способен? То есть не то, что способен, что я знаю, что я умею? Писарем даже быть не могу — видите, какой почерк. В работники не гожусь: кто возьмет такого барчука?..»

Внутреннее состояние Гаршина, по его собственным словам, сводилось к «отупению и страху».

Если просмотреть его переписку за время пребывания в Ефимовке, то можно без труда увидеть, что одним из наиболее тяжелых моментов жизни Гаршина в деревне попрежнему была тревожная мысль о будущем. Мысль, что ему придется навсегда оставить литературную работу и ис-

кать другую, не дает ему покоя. Он боится, что, гонимый нуждой, вынужден будет вновь пойти на военную службу и стать офицером мордобойной царской армии.

Одно время друзья Гаршина пообещали ему исхлопотать место городского учителя в Петербурге. Однако на деле это оказалось совершенно неосуществимым. На двадцать свободных вакансий претендовало свыше ста двадцати конкурентов, более опытных и знающих.

Наконец, Гаршину стало ясно, что сидеть дольше в Ефимовке нет смысла. Здоровье как будто улучшилось. Все страшное и больное было, казалось, позади. И вот однажды произошел такой случай. Дядя с племянником поехали в Николаев. В городе они расстались. Дядя ушел по своим делам, а Гаршин отправился по магазинам за покупками. Через несколько часов Акимов нашел Гаршина в ресторане очень сконфуженным. Оказалось, что за полчаса до его прихода кто-то под самым носом Гаршина украл пальто.

Владимир Степанович добродушно посмеялся и пожурил племянника за рассеянность. Вдруг Гаршин бросился ему на шею и со слезами на глазах заговорил: «Дядя, дядя, я чувствую, что все это прошло. Никаких «проклятых вопросов» нет, и вся моя горькая и несчастная жизнь с реального училища где-то потонула».

С этого дня Гаршин всерьез заговорил об отъезде. С каждой почтой из Петербурга решимость его крепла. Особенно привлекали его в Петербург предположения родных об издании первого тома его рассказов. Было еще одно обстоятельство, которое с неменьшей силой влекло его в столицу,— там жила любимая девушка. Два года они не виделись, болезнь разлучила их, но в глубине души Гаршин мечтал о новой встрече.

В мае 1882 года Гаршин приехал в Петербург. В первые же дни после приезда он отправился к Золотиловой. Надежда Михайловна была бесконечно счастлива—она никак

не ожидала встречи с Гаршиным после двухлетней разлуки, в течение которой они даже не переписывались.

Они встретились с искренним восторгом, просто, без объяснений, без упреков; на сердце у них было светло и радостно. Казалось, разлука только усилила их любовь...

ПИСАТЕЛЬ СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В жизни каждого писателя выход в свет первой его книжки — событие большого значения. Вполне понятно то волнение, с каким Гаршин летом 1882 года отдался хлопотам по изданию первого тома его рассказов, переговорам с издателями, с типографией и т. д.

Идея выпуска первого тома рассказов возникла у родных Гаршина еще осенью 1880 года, когда он находился в больнице для душевнобольных. Мать даже обратилась к Тургеневу с просьбой написать предисловие для этого тома и получила его согласие. Это было не случайно. Между Тургеневым, представителем старшего поколения писателей, и молодым Гаршиным возникла трогательная дружба. Уже первые рассказы Гаршина обратили на себя внимание Тургенева, жившего в то время за границей.

Маститый писатель приветствовал появление в России нового таланта. Когда Гаршин заболел, Тургенев отнесся к его судьбе с большим участием, а после выздоровления Гаршина между ним и Тургеневым завязалась дружеская переписка. Летом 1882 года Тургенев собирался приехать в Россию и пригласил Гаршина погостить у него в имении «Спасское-Лутовиново». Болезнь помешала Тургеневу приехать, но свое приглашение он оставил в силе и просил молодого писателя погостить в имении, хотя бы в его отсутствие. Гаршин охотно воспользовался приглашением и провел лето в имении Тургенева. Оттуда же он послал Тургеневу первую книжку рассказов и с волнением ждал отзыва.

Сердце молодого Гаршина наполнилось радостью и гор-



«На войну!»

(Рисунок К. А. Савицкого.)

достью, когда от Тургенева пришло такое обнадеживающее письмо:

«Изо всех наших молодых писателей — вы тот, который возбуждает большие надежды. У вас есть все признаки настоящего, крупного таланта: художнический темперамент, тонкое и верное понимание характерных черт жизни — человеческой и общей, чувство правды и меры, простота и красивость формы и, как результат всего, — оригинальность. Я даже не вижу, какой бы совет вам преподать; могу только выразить желание, чтобы жизнь вам не помешала, а, напротив, дала бы вашему созерцанию ширину, разнообразие и спокойствие, без которых никакое творчество немыслимо».

Лето, проведенное Гаршиным в имении Тургенева, способствовало окончательному выздоровлению писателя. Здесь, в тиши, среди прекрасной природы, Гаршин написал рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова» — одно из лучших своих военных произведений.

В этом рассказе Гаршин повторяет историю своего похода в русско-турецкую войну. Рядовой Иванов, от имени которого ведется рассказ, — интеллигент, пошедший на войну, чтобы разделить с солдатами тягость похода. Иванов сознает, как и герой «Четырех дней», что солдаты не понимают ни цели, ни смысла этой войны, что она не нужна народу. «Нас влекла неведомая, тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь по дисциплине не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий...»

Один из героев рассказа, офицер Венцель, жестоко истязает солдат. Когда-то, в молодости, он будто бы читал хорошие книжки и пытался словами воздействовать на сол-

дат, но потом решил, что это — сентиментальный вздор, что воинскую дисциплину в русской армии нужно поддерживать только при помощи мордобития.

В страшную жару, нагруженные тяжелой амуницией, солдаты шли походным маршем, совершая огромные переходы. Некоторые не выдерживали и от усталости падали. Венцель наклонился над одним из упавших и начал тащить его за плечо.

— Вставай, каналья! Вставай!

Он осыпал солдата грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств и с безнадежным выражением лица смотрел на взбешенного офицера. Губы его что-то шептали.

—Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по плечам несчастного, натруженным тяжелым ранцем и ружьем.

Рисуя жестокость Венцеля, Гаршин находит, однако, в нем и некоторые черты человечности. Венцель — хороший семьянин, он помогает отцу и сестре, и хороший товарищ (конечно, в своем офицерском кругу). В конце рассказа совершенно неожиданно выясняется, что Венцель по-своему любит солдат. Когда его рота потеряла в бою за два часа пятьдесят два человека из ста с небольшим, Венцель, оставшись один в палатке, не находит в себе сил сдержать рыдания.

Такой конец рассказа далеко не случаен. Для творчества Гаршина характерно стремление найти какие-то черточки человечности и добра даже у таких негодяев, каким являлся в его собственном изображении Венцель.

Однако ценность гаршинского рассказа, конечно, не в судьбе офицера Венцеля, а в тех великолепных, мастерски написанных сценах жизни русских солдат, которые и составляют основу рассказа.

Гаршин всем сердцем любил солдат. Он восторгался их скромностью, храбростью и трудолюбием. Солдат этих обворовывали казнокрады, над ними издевались бездарные и невежественные командиры, они страдали от жары, стужи, голода и плохого снабжения, и все-таки они побеждали. «Опять солдат наш грудью брал», говорит о них Гаршин в одном из писем.

Современный читатель с интересом и пользой для себя прочтет гаршинский рассказ. Читая строки, повествующие о подвигах рядовых солдат — героев русской армии, он почувствует их родство с современными бойцами Красной армии и легко представит себе, какой грозной силой является армия, где боевые качества русского солдата умножены на первоклассную технику, где каждый боец знает, что он борется за свою социалистическую родину, отстаивает свою, кровью завоеванную, землю от покушений врага.

Осенью Гаршин вернулся в Петербург. Вновь встал вопрос о средствах к существованию. Писателю грозил голод. Не находя никакого выхода, он с помощью знакомых устраивается конторщиком за пятьдесят рублей в месяц на бумажный склад в Гостином дворе.

Служба начиналась с девяти утра и кончалась в девять вечера. Это была тяжелая и неприятная работа. Она настолько утомляла Гаршина, что ни о какой литературной работе не могло быть и речи. Казалось, нужда окончательно погубит его молодую писательскую славу и довершит то, чего не смогла сделать болезнь.

Но неожиданно ему улыбнулось счастье. В начале 1883 года Гаршину удалось получить место секретаря постоянного съезда представителей железных дорог. Здесь платили сто рублей жалованья, а главное, служба отнимала в день всего несколько часов и, таким образом, давала возможность Гаршину вновь посвятить себя литературе.

В феврале того же года Надежда Михайловна Золотилова стала женой Гаршина. Казалось, наступил самый бла-



В. М. и Н. М. Гаршины.
С фотографии В. Каррика середины 80-х годов.)

гополучный период его жизни. Надежда Михайловна была преданным другом и любящей женой. Гаршин также любил жену и был ей бесконечно благодарен за заботу и уход, которыми она его окружила. Этот год и в литературном отношении был плодотворнейшим периодом в жизни Гаршина. Он написал несколько рассказов и в их числе такое выдающееся произведение, как «Красный цветок».

«Красный цветок» — это повесть о безумце, который, увидев на дворе больницы красный цветок мака, решил, что все зло мира воплотилось в этом цветке. «Нужно сорвать кровавый цветок, вобрать в себя его яд, — думает он, — и ценой собственной жизни спасти человечество от зла».

«Красный цветок» — произведение большой художественной силы. Оно произвело на интеллигенцию восьмидесятых годов огромное впечатление.

Эта новелла была написана Гаршиным в 1883 году, два года спустя после того, как «Народная воля» осуществила смертный приговор над Александром II.

Александра II сменил тупой и ограниченный сын его Александр III. Фактическим диктатором России в этот период был Победоносцев — ярый реакционер, лицемер и ханжа. Либеральное общество, не перестававшее надеяться на «конституцию», в первые же дни нового царствования было огорошено манифестом, в котором Александр III высокопарно утверждал веру «в силу истины самодержавной власти, которую мы (Александр III) призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Этим манифестом Александр III дал понять «обществу», что период заигрывания с либералами окончен. Страна вошла в полосу неприкрытой реакции.

Народовольцев охватили растерянность и смятение. Большинство организаций было разгромлено, а главари арестованы; террор явно обанкротился. Разгромив народовольческое подполье, правительство Александра III взя-

лось и за легальные организации, имевшие демократический или даже либеральный характер. По всей стране прокатилась волна арестов. Цензура была усилена и ряд изданий демократического лагеря закрыт.

В одном из писем к матери Гаршин характеризует правление Александра III, как царство «торжествующей свиньи».

Чувство бессилия, отчаяния начало охватывать значительную часть интеллигенции. И в этой обстановке «Красный цветок» явился литературным событием. Жертвенный подвиг одиночки представлялся прямым протестом против беспредельного торжества насилия и угнетения и нашел горячий отклик в сердцах поколения, придавленного тяжелой пятой реакции.

В этом же году Гаршин написал рассказ «Медведи», в котором показал один из драматических эпизодов жизни кочующих цыган.

По приказу властей цыгане должны убить своих ручных медведей — единственный для них источник заработка.

Сцены расстрела животных и душевные муки людей, вынужденных убивать своих «кормильцев», зная, что впереди их ждет голод, написаны с характерной для Гаршина поэтической силой, грустью и выразительностью.

Несмотря на то, что 1883 год внешне для Гаршина был благополучным, в душе писателя не было и тени спокойствия. О том, что его волновало и мучило в этот период жизни, можно составить себе представление по небольшому, но важному отрывку из письма к другу Гаршина, Фаусеку, написанному по поводу самоубийства Нади (сестры прежней невесты писателя, Раисы Всеволодовны Александровой).

«Ваше письмо о бедной Наде глубоко взволновало меня, — пишет Гаршин, — но, по правде сказать, удивило очень мало. Разучились ли мы все (ныне живущие люди) удивляться, — чего-чего не насмотрелись! — или просто такого исхода жизни Нади нужно было ожидать — не знаю. А, впрочем, думаю, что последняя причина вероятнее. Пра-

во, как посмотришь теперь, когда уже все кончено и решение задачи найдено, на данные этой задачи, так кажется, что иначе и быть не могло. Что могла дать ей жизнь, да еще при такой редкой гордости? Может быть, и было что-нибудь, что спасло бы ее от смерти, если бы она снизошла до того, чтобы нагнуться и поднять это что-то, но она предпочла поступить, как тот испанский король, который задохся, а не вынес жаровни с углями из своей спальни, потому что по этикету выносить жаровню должен был особо назначенный для этого дон или там гранд какой-то: гранда этого не случилось, и король умер. Написал я это, да и боюсь, что вы поймете меня не так: я ничего дурного о Наде сказать не хочу, а только думаю, что у нее были чересчур большие требования от жизни. А, впрочем, все это, может быть, вранье. Все люди, которых я знал, разделяются (между прочими делениями, которых, конечно, множество: умные и дураки, Гамлеты и дон-Кихоты, лентяи и деятельные и проч.) на два разряда или, вернее, распределяются между двумя крайностями: одни обладают хорошим, так сказать, самочувствием, а другие — скверным. Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он — радуется, на небо смотрит — радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием... Словом, для такого человека самый процесс жизни — удовольствие, самое сознание жизни — счастье. Вот как Платоша Каратаев... Так уж он устроен, и я не верю ни Толстому, никому, что такое свойство Платоши зависит от миросозерцания, а не от устройства. Другие же совсем напротив: озолоти его, он все брюзжит; все ему скверно, успех в жизни не доставляет никакого удовольствия, даже если он вполне налицо. Просто человек не способен чувствовать удовольствия, — неспособен, да и все тут. Отчего? — конечно, не я вам это скажу: когда Бернары[1] найдут

[1] Клод Бернар — знаменитый французский физиолог.

дут хвостики самих хвостиков нервов и все поймут и опишут, тогда сейчас объяснят. Посмотрят под микроскопом и скажут: ну, брат, живи, потому что если тебя даже каждый день сечь станут, то и тогда ты будешь доволен и будешь чувствовать себя великолепно.

А другому скажут: плохо твое дело, никогда ты не будешь доволен; лучше заблаговременно помирай. И такой человек помрет. Так умерла и Надя. Ей тоже все сладкое казалось горьким, да и сладкого немного было...»

Гаршин и себя причисляет к людям, которым сладкое кажется если не горьким, то и не очень сладким, и он хочет найти объяснение этому свойству своего характера. Впрочем, у него, как и у Нади, «сладкого было немного».

С иронией относится он к своему как будто наладившемуся благополучию. «Служу, женат. Вообще «очень потолстел и играет на скрипке»,[1] издевается он над собой в письме к приятелю и с огорчением констатирует, что литературная работа и сейчас, в спокойный для него период, дается с трудом.

Весь 1883 год Гаршин безвыездно прожил в Петербурге. Он много думал и много читал. Среди прочитанных книг были произведения Карамзина, Соловьева, Спинозы и других. В творениях великого философа Спинозы Гаршин безуспешно пытается найти ответ на продолжавшие мучить его «проклятые вопросы».

«Завидую тебе в том отношении, что ты читаешь на свободе Спинозу, — пишет он своему другу Латкину. — Когда я читал его, то мне приходило в голову... что я сделаюсь спинозистом. Однако со временем впечатление ослабело: слишком теория отвлеченна и слишком мало связана с жизнью. Так что осталось воспоминание о прелестном, симпатичном художественном произведении, а применения системы к объяснению жизни не вышло ни на грош. Чтоб

---

[1] Ироническая цитата из «Ревизора» Гоголя.

быть спинозистом, нужно быть Спинозой и жить так, как он. Нужно не думать так, как он, а быть таким».

Гаршин очень любил старую русскую литературу, он знал многое наизусть из Ломоносова и Державина. Что же касается Пушкина и Лермонтова, то он перечитывал их каждый год, открывая все новые и новые поэтические прелести. Однажды Фаусек застал его за перечитыванием «Евгения Онегина». Гаршин плакал, читая. Он сказал Фаусеку, что плачет не потому, что тронут какими-нибудь местами самой поэмы, а от умиления и восторга при мысли, что в России жил такой поэт. «Вот стихи, которые я тысячу раз читал, — сказал Гаршин, — и всякий раз замечаю новые подробности».

С большим интересом относился Гаршин к западной литературе. Его суждения о западных писателях и поэтах иногда спорны, но они замечательны по остроте характеристик, меткости эпитетов и оригинальности суждений.

«Ламартин — болтунище ужасный, — пишет он Фаусеку как-то из Ефимовки. — Мюссэ все тужится быть умным и изящным; Христос его знает, м. б., он и изящен, только для понимания этого изящества нужно хорошо знать язык; для меня он скучен, как «Губернские ведомости». Гюго же хоть и враль, да зато уж мастер. Может, вам попадется как-нибудь под руку «Les orientales», не забудьте там посмотреть «Le Djinnes». Это такой, я вам скажу, турдефорс стихоплетства. А, впрочем, все трое вместе не стоят томика Лермонтова...»

Сообщая Латкину о текущих подробностях своей жизни, Гаршин, между прочим, пишет: «...Читаю я теперь всю беллетристику. Прочел Бальзака «Евгению Гранде»; что за огромный талант! «Мизераблей» [1] читаю по-французски; удивительная смесь чувства и надутости, ума и (смелое слово!) глупости, художества и балагана. Новый роман

[1] «Отверженные» В. Гюго.



Письмо В. М. Гаршина к Н. С. Таганцеву.
(Гос. публичная библиотека в Ленинграде.)

Гюи Мопассана начал читать: умно и твердо, но только все-таки видишь флоберова раба. Хочу достать «La tentation de S. Antonie»[1]. По тем отрывкам, которые я знаю, это нечто колоссальное...»

Разносторонность Гаршина поражала его друзей. Несмотря на то, что болезнь, служба, литературная работа отнимали у него все время, Гаршин находил возможность, пользуясь каждой свободной минутой, пополнять свои знания во всех областях человеческой мысли, читал запоем книги по истории, литературе, философии, естествознанию и даже технике.

Он восхищался Дарвином и преклонялся перед ним. К доморощенным антидарвинистам, пытавшимся в тогдашней литературе критиковать великого ученого, относился с презрением. С огромным вниманием прочитывал Гаршин труды гениального натуралиста, тщательно изучал бесконечное количество фактов, на основании которых Дарвин делал свои замечательные обобщения.

У Гаршина был от природы трезвый, реалистический ум. Еще в гимназические годы он удивлял окружающих умением легко и практично разрешать довольно сложные технические проблемы.

Показателем внутренней практической жилки, склонности к своеобразному «инженерному» мышлению, может быть любопытный случай с изобретением особого приспособления к железнодорожным вагонам для перевозки хлеба.

Однажды в семье знакомого инженера разговорились о конкурсе на новое приспособление для железнодорожных вагонов, объявленном съездом представителей железных дорог. Гаршин, как секретарь этого съезда, был в курсе дела и начал объяснять инженеру подробные условия конкурса. Тут же, во время разговора, Гаршин стал придумывать различные варианты этого приспособления. С по-

---

[1] «Искушение св. Антония» Г. Флобера.

мощью инженера он на одном листке бумаги изложил свой проект. Премию под общие шутки было решено разделить между троими — Гаршиным, инженером и его родственницей, переписавшей проект на чистый листок бумаги. Каково же было удивление всех родных и знакомых и самого Гаршина, когда этот проект получил на конкурсе первый приз и на долю Гаршина пришлось почти восемьсот рублей.

Интерес, который проявлял Гаршин к технике и естественным наукам, и его природная способность к ним имеют, нам кажется, немалое значение при изучении его литературного творчества. Логичность сюжета, реальность, точность и лаконичность в описании людей, вещей и событий, несомненно, связаны с этой чертой его характера.

Летом 1883 года Гаршин познакомился с популярнейшим поэтом той поры — Надсоном. Юноша-поэт привел его в восторг, но с чувством печали смотрел он на его горящие чахоточным румянцем щеки и большие грустные глаза. Надсон был тяжело болен туберкулезом, и все знали, что он скоро умрет. «Неужели ему суждено отцвести, не успевши расцвесть?» с болью вопрошает Гаршин.

В конце июня Гаршин совершил экскурсию в Тихвин на большой церковный праздник. Он хотел во время этого путешествия поближе столкнуться с народной массой, понаблюдать людей и, наконец, просто развлечься поездкой на пароходе по каналу.

По дороге Гаршин и его приятель, художник Малышев, должны были заехать за известным писателем Глебом Успенским, чтобы втроем отправиться в Тихвин.

Гаршина и Глеба Успенского связывала многолетняя дружба. Они познакомились в редакции «Отечественных записок» еще в 1879 году. Глеб Успенский был представителем того типа литературных пролетариев, для которых литература являлась единственным источником существования. Трудно представить себе, до какой степени нищеты и унижения перед издателями доходил этот писатель, произ-

ведениями которого зачитывалась тогда вся грамотная Россия. Оплата литературного труда была сама по себе нищенской, а Успенский, кроме того, запродал вперед все свои произведения на кабальных условиях и целиком зависел от милостей жадных издателей.

К Глебу Успенскому Гаршина привлекали его яркая индивидуальность, острый ум и умение честно и правдиво изображать тяжелую жизнь русской деревни.

Глеб Успенский был настолько растерян и беспомощен перед надвигающейся нищетой, что Гаршин, сам не отличавшийся чрезмерной практичностью, предложил ему даже как-то устроить его материальные дела. Он договорился с издателем Павленковым о выпуске в свет сочинений Глеба Успенского за сумму, хотя и небольшую, но вдвое превышавшую надежды самого Успенского.

Гаршин считал Глеба Успенского одним из лучших современных ему писателей. Особенно он ценил знаменитое произведение Успенского «Власть земли». Еще находясь в Ефимовке, когда чтение и всякая умственная работа были для него тяжелы, он с жадностью проглатывал произведения Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского.

Гаршин высоко ценил дружбу интересного и умного писателя. Он горячо защищал его от нападок и сплетен, ходивших в писательской среде. Успенский также дружески и тепло относился к Гаршину. Он лучше, чем кто-либо из друзей, понимал его беспокойную, благородную душу и чистосердечно восхищался им.

Успенский радостно встретил приехавших к нему Гаршина и Малышева, но к их компании присоединиться не смог — его удерживали срочные обязательства перед издателями, торопившими с уплатой долгов.

Поездка в Тихвин удалась наславу. Гаршин, любивший путешествия и природу, вдоволь налюбовался замечательными видами, открывавшимися его взору во время поездки на пароходе по каналу.

Отдохнувший и посвежевший, полный впечатлений от красот природы и от встреч с новыми людьми, он вернулся в Петербург и с жаром взялся за работу.

Попрежнему Гаршин аккуратно приходил на службу, но отдавал канцелярской работе не более двух-трех часов. В остальное время он писал и изучал материалы: в этот период он усиленно готовился к большому историческому роману из эпохи Петра Великого.

Исторический роман о Петре, о борьбе старой и новой России, был заветной мечтой писателя. К сожалению, эта мечта так и осталась неосуществленной, но все годы, до самой смерти, Гаршин не переставал подбирать материалы по петровской эпохе, тщательно и трудолюбиво готовиться к этому своему важнейшему произведению.

В начале 1884 года в «Правительственном вестнике» было опубликовано постановление особого совещания четырех министров о закрытии «Отечественных записок». Официально закрытие мотивировалось тем, что в редакции «Отечественных записок» группировались люди, близкие к революционным организациям. Ряд сотрудников журнала — Н. К. Михайловский, Кривенко, Эртель и Протопопов — был еще до этого арестован.

Закрытие «Отечественных записок», близким сотрудником которых был Гаршин, журнала, где работали его друзья и товарищи, где увидел свет первый из его рассказов, было тяжелым ударом для писателя. Гаршин не всегда полностью соглашался с линией редакции, но, несмотря на это, журнал был ему близким и родным.

В одном из писем он жалуется матери, что закрытие «Отечественных записок» равносильно для него смерти любимого человека.

Вместо закрытых журналов правительство поощряло возникновение новых, более соответствовавших реакционному направлению политики. С болью и отвращением присматривался Гаршин к поведению части интеллигенции. Пош-

лые анекдоты и водка в неумеренном количестве, разговоры о политических событиях в тоне занимательной хроники происшествий... Гаршин не мог примириться с этими спокойными разговорами о казнях, насилиях, арестах — точно об очередном спектакле в театре,—с равнодушием так называемого «общества» к мерзостям и несправедливостям режима, который душит и губит всякую прогрессивную мысль.

«Право, какое-то одичание... Да и вообще одичание, — пишет он товарищу. — Как мы привыкли, например, к этому свежеванию. Толкуют, конечно, потому что любопытно и интересно, но ужаса никакого, такого ужаса, какой испытывает человек в море, а он [ужас] вполне законен».

В ночь на 1 января 1884 года Гаршин в один присест написал для павленковского сборника сказку «О жабе и розе». Эта сказка—настоящий поэтический шедевр. Сюжет ее характерен для творчества Гаршина. В сказке рассказывается о прекрасной розе, которую хотела пожрать жаба. В последний момент, когда роза в смертельном ужасе ждала бесславной гибели, ее сорвали и принесли в комнату к умирающему мальчику. Роза увяла, но своим ароматом она облегчила страдания несчастного мальчика. И роза благодарна судьбе: ее существование оказалось не бесцельным.

В начале этого года Гаршин приступил к работе над большой повестью. В основу ее положен был случай самоубийства учительницы Радонежской, затравленной окружающими условиями. Об этом много писали в демократических газетах. Повесть была задумана Гаршиным как протест против насилия и произвола. Работая над нею, Гаршин заранее предвидит те трудности, какие будет чинить ему цензура. «В будущей повести, — пишет Гаршин своему другу,—до такой степени жизнь переплелась с нецензурными явлениями, что постоянно натыкаешься на них и разбиваешь себе лоб, просто хоть брось».

Весна и лето 1884 года прошли для Гаршина тяжело. С этого года болезнь его приняла какой-то странный харак-

тер: весной его охватывала тоска, он страдал бессонницей, впадал в апатию, к зиме же оправлялся и вновь становился работоспособным.

Во время припадков апатии Гаршин делался беспомощным, как ребенок. Самая простая житейская мелочь становилась для него трудно выполнимой: ему было тяжело сходить куда-нибудь по делу, написать письмо или совершить самый маленький поступок.

К счастью, заботливый домашний уход и чуткое отношение сослуживцев облегчали его страдания. Товарищи по работе выполняли втихомолку его обязанности. Надежда Михайловна преданно и самоотверженно окружала любимого человека заботой, оберегала от волнений, успокаивала его, развлекала, заменяя ему мать и няньку. Гаршин платил ей за это горячей любовью. Бывали минуты, когда лишь привязанность к жене удерживала его от самоубийства.

В один из таких тяжелых периодов Фаусек встретил Гаршина у общих знакомых. Когда друзья остались в комнате одни, Гаршин не мог удержаться от слез. Сквозь рыдания он говорил своему другу: «Если бы ты знал, какое это ужасное страдание. Не будь Нади, я бы, не медля ни минуты, покончил с собой».

Осенью 1884 года Гаршин почувствовал себя лучше. В сентябре он совершил небольшое путешествие, посетил Киев, Вильно, Белосток и несколько других городов. Путешествие оживило и развлекло его. Вернувшись в Петербург, Гаршин с головой ушел в служебные и литературные дела. Он принял горячее участие в судьбе поэта Надсона, умиравшего от чахотки. Друзья поэта с большим трудом достали небольшую сумму денег и проводили его за границу.

На специальном концерте, устроенном известным музыкантом Давыдовым в пользу больного Надсона, Гаршин, очарованный искусной игрой, написал небольшое стихотворение в прозе, где выразил и волнующее впечатление от музыки и скорбь о судьбе своего умирающего друга.

«Когда он коснулся струн смычком, когда звуки виолончели вились, переплетались, росли и наполняли замершую залу, мне пришла в голову горькая и тяжелая мысль.

Я думал: есть ли здесь, в этой зале, десять человек, которые помнят, ради чего они собрались сюда?

Иные пришли из тщеславия, другие — потому, что было неловко отказаться, третьи — послушать хорошей музыки.

Но немногие помнили умирающего юношу, ради которого все это было устроено.

Эта мысль была горька, и под страстные и печальные звуки мне представилась далекая картина.

Я видел слабо освещенную комнату; в углу ее — постель, и на ней лежит в лихорадке больной.

Огонь покрывает его исхудалое лицо, и прекрасные глаза горят больным пламенем.

Он смотрит в лицо другу. Тот сидит у изголовья. Он читает вслух книгу.

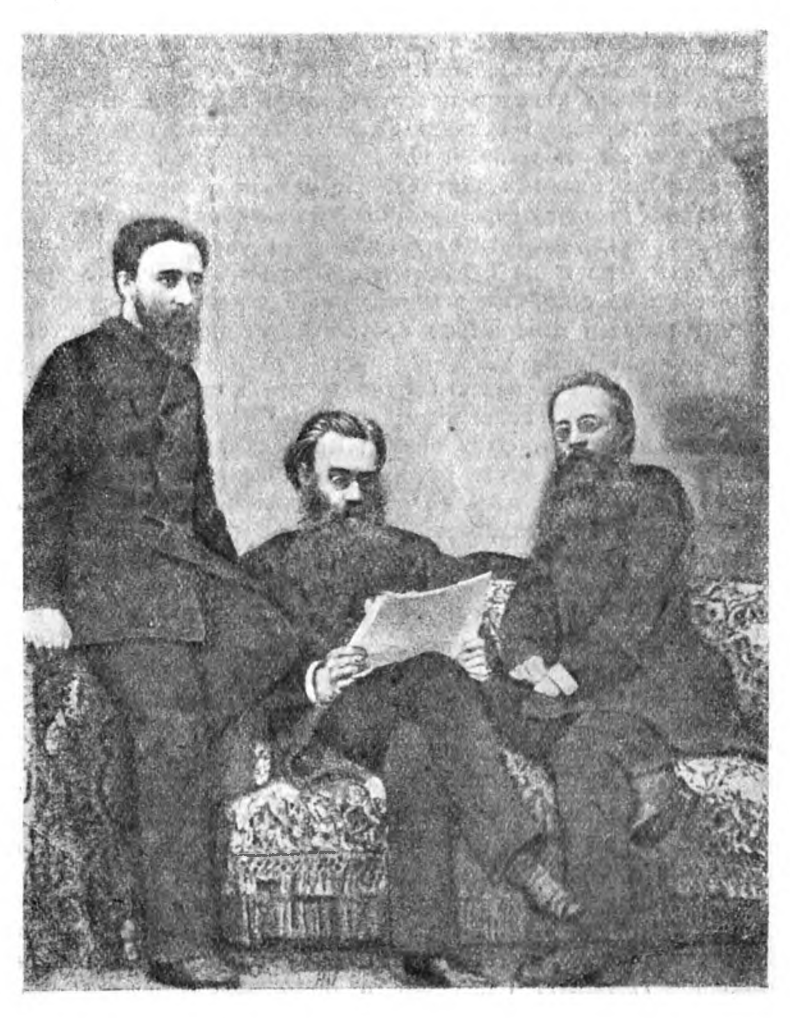
Иногда чтение прерывается; он смотрит своим добрым взглядом на бледное лицо.

Что он читает в нем? Смерть или надежду?

Виолончель смолкла... Бешеный плеск и вопль удовлетворенной толпы спугнули мечту...»

Осенью 1884 года Гаршин приступил к повести «Надежда Николаевна» и работал над ней всю зиму. Эта повесть по форме сильно отличалась от прежних рассказов Гаршина; в ней развито действие, имеется сложная сюжетная интрига — убийство, любовь, ревность, но в художественном отношении она слабее других произведений Гаршина.

В повести «Надежда Николаевна» выведена среда художников; главная героиня — проститутка. Но в отличие, например, от «Происшествия», социальные вопросы в этом произведении почти не затрагиваются. Повесть полна противоречий. Многое в ней навеяно учением Толстого, но отдельные места написаны как бы специально для полемики с основными положениями толстовства.



В. М. Гаршин, А. Я. Герд и В. М. Латкин.

(С фотографии 1886 г.)

Герой повести Лопатин в порядке самозащиты убивает своего приятеля Бессонова. На насилие он отвечает насилием. Однако в конце повести убийца Лопатин мучается совестью, которую считает высшим мерилом суждения о человеческих поступках. Он считает, что для человеческой совести нет писаных законов, нет учения о невменяемости, и человек несет за свое преступление казнь. «Скоро господь простит меня, —рассуждает герой, — и мы встретимся все трое там, где наши страсти и страданья покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви». Такое окончание повести совершенно соответствует положениям толстовства.

Однако есть в повести одно место, которое резко направлено против важнейшего тезиса толстовства — о «непротивлении злу». Этот эпизод мало связан с общей линией сюжета и вставлен в повесть, повидимому, лишь с целью резко возразить Толстому. Один из героев повести, художник Гельфрейх, образно рассказывает сюжет картины, которую он мечтает написать:

«Как-то раз Владимир Красное Солнышко, — фантазирует Гельфрейх,— рассердился за смелые слова на Илью Муромца; приказал он взять его, отвести в глубокие погреба и там запереть и землей засыпать. Отвели старого казака на смерть. Но как это всегда бывает, княгиня Евпраксеюшка «в те поры догадлива была»: она нашла к Илье какой-то ход и посылала ему по просфоре в день, да воды, да свечей восковых, чтобы читать Евангелие, и Евангелие прислала... Вот сидит Илья Муромец и читает; и раскрыл он место о нагорной проповеди и читает он о том, что, получивши удар, надо поставить себя под другой. И читает он это место и не понимает. Всю жизнь трудился Илья, не покладая рук, печенегов, и татар, и разбойников извел великое множество; разных Тугаринов Змеевичей и Идолищ Поганых, и палениц, и жидовинов побеждал; век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в

крещеную Русь; и верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает: «Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтоб грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя. Сяду я на коня, возьму копье в руку и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..»

Илья Муромец в повести Гаршина читает нагорную проповедь, то есть как раз то место из евангелия, которое послужило Толстому основой для написания знаменитого «В чем моя вера?». В уста Ильи Муромца Гаршин вкладывает протест против толстовства, который он сам несет в своем сердце.

Словами Гельфрейха Гаршин доказывает, что Илья Муромец, убивавший людей, защищая угнетенных и слабых, отстаивая независимость своего народа, не меньше достоин звания «святого», чем другие «угодники».

«...Илья и Евангелие! Что общего между ними? — рассуждает Гельфрейх. — Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. И ездит он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни — не убийства, а казни, ибо он казнит. А когда ему нехватает этого арсенала или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыплет и им действует. А ведь он святой. Видел я его в Киеве... лежит вместе со всеми — и справедливо...»

На отношении Гаршина к Л. Н. Толстому и к толстовству следует остановиться поподробнее, так как со стороны буржуазной критики были попытки изобразить Гаршина, особенно в последние годы его жизни, чуть ли не правоверным толстовцем.

Было бы неправильно отрицать влияние Толстого на

Гаршина, но Гаршин никогда не был последовательным сторонником религиозно-нравственного учения Толстого. Больше того, он был решительным противником важнейших тезисов толстовского учения — непротивление злу, отрицательное отношение к науке и т. д.

В последние годы своей жизни Гаршин как будто приблизился к лагерю толстовцев: он принимал участие в толстовском издательстве «Посредник» и дружил с ближайшими единомышленниками Толстого — Чертковым и другими.

Выпуск массовых дешевых изданий для народа казался ему тем настоящим делом, которого жаждала его тоскующая душа. Он был уверен, что это издательство выполняет важную и полезную для народа миссию.

Вместе с Л. Н. Толстым Гаршин делал тексты для лубочных картинок, выпускаемых «Посредником», чтобы вытеснить антинародные, пошлые лубки реакционных и торгашеских издательств.

В последних рассказах Гаршина — «Сказание о гордом Аггее» и «Сигнал» — влияние Толстого очевидно. Интересно, например, что сам Толстой одно время собирался художественно переложить легенду о гордом Аггее, но, прочтя рассказ Гаршина, оставил свое намерение. Очевидно, трактовка Гаршиным этой легенды его удовлетворила.

Можно ли, однако, на том основании, что в двух-трех рассказах Гаршина, написанных к тому же специально для толстовского издательства, содержатся идеи, родственные толстовским, считать его толстовцем, как это пытались в той или иной форме делать некоторые критики?

Против этого нужно решительно протестовать. Отношение Гаршина к Толстому и толстовству значительно глубже и сложнее.

Ближайший друг Гаршина, Фаусек, который в последние годы жизни писателя был поверенным его самых задушевных мыслей, рассказывает, что Толстой был наиболее лю-

бимым писателем Гаршина. Произведения Толстого являлись для Гаршина настольной книгой, несравненным образцом художественного творчества. Человеческая жизнь, изображенная в романах Толстого, казалась Гаршину, по словам Фаусека, более реальной, чем настоящая жизнь. С субъективным отношением Толстого, с его оценкой жизни и жизненных явлений (в его романах) Гаршин не всегда соглашался, но художественный материал и поэзия его были для Гаршина предметом безусловного поклонения. Говоря о каком-нибудь общественном явлении или о душевной жизни человека, он ссылался на примеры из романов Толстого, как на нечто вполне реальное, как на неоспоримые аргументы. Он перечитывал произведения Толстого десятки раз и помнил всякую подробность в них.

Что же касается сочинений Толстого, посвященных вопросам морали, то, как утверждает Фаусек, Гаршин читал их лишь потому, что интересовался всем, выходившим из-под пера Льва Толстого. Но с их выводами он никогда не соглашался.

Учение о «непротивлении злу» Толстого он считал глубоко ошибочным. При этом Гаршин любил ссылаться на русскую историю и чаще всего приводил в пример нашествие татар. Проповедь «непротивления злу», обращенная к русскому народу в то время, когда на него напали татары, была бы гибельной для него.

Решительное отрицание «непротивления» нашло отражение и в творчестве Гаршина. Вспомним, например, эпизод с картиной Гельфрейха в повести «Надежда Николаевна».

Знаменитая книга Толстого «В чем моя вера?», взволновавшая широкие круги интеллигенции, возмутила Гаршина до глубины души. Он решил обязательно повидать Толстого, чтобы поговорить с ним об идеях этой книги и в личной беседе доказать ему его неправоту. Для свидания с великим писателем Гаршин выехал в Москву, но накануне Толстой уехал в деревню, и свидание не состоялось.

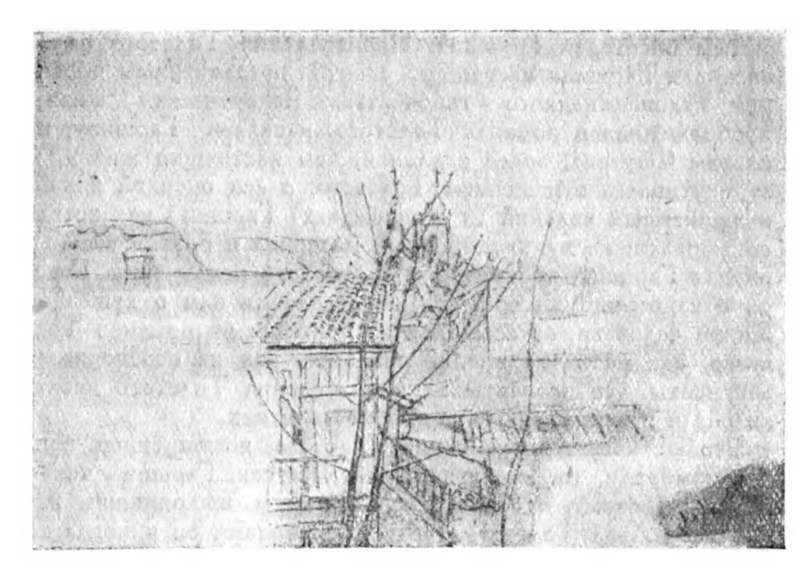


Рисунок Гаршина из крымского альбома.

Своему другу Латкину Гаршин писал:

«Я чувствую настоятельную потребность говорить с Л. Н. Толстым. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь ужасна. Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит «собственным умом»...»

Это двойственное отношение к Толстому характерно для Гаршина в течение всего последнего периода его жизни.

Когда, например, Гаршину стала известна новая драма Толстого «Власть тьмы», он пришел от нее в неописуемый восторг. Благодаря Черткову он смог прочитать эту драму еще в рукописи и до выхода в свет почти выучил ее наизусть. Он сравнивал эту пьесу Толстого с пьесами Шекспира и с классическими пьесами древности. У себя

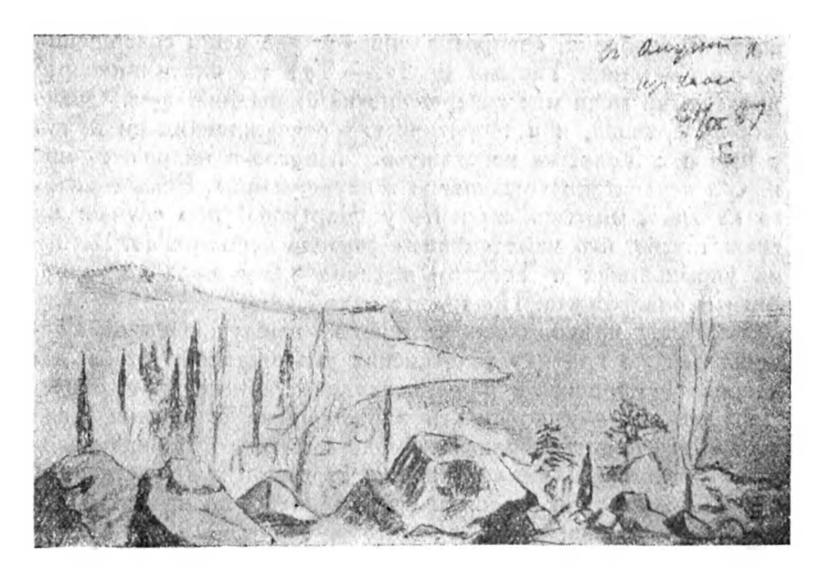


Рисунок Гаршина из крымского альбома.

на квартире он собирал приятелей специально для читки этой пьесы вслух. Однажды в обществе, где некоторые упрекали пьесу Толстого в безнравственности, Гаршин первый раз в своей жизни выступил как оратор и произнес пламенную речь в защиту пьесы, приводя при этом многочисленные логические и строго продуманные аргументы.

Когда же в пылу спора с братом Евгением последний назвал его толстовцем, Гаршин оскорбился и решительно запротестовал. До нас дошло интереснейшее письмо Гаршина к брату, написанное им за год до смерти, которое, по нашему мнению, вносит ясность в вопрос об отношении Гаршина к Толстому.

«Защищать драму Толстого и признавать его благоглу-

пости и, особенно, «непротивление» — две вещи совершенно разные, — пишет Гаршин брату. — Тут ты опять наворачиваешь на меня мне совершенно не принадлежащее. Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Толстым не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, напр.). Если ты этого не знал, можешь спросить у [Черткова] при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно. В твоих упоминаниях о Толстом я снова вижу желание оскорбить и раздражить. Право, это нехорошо».

Черткову приходилось частенько выслушивать от Гаршина резкую критику толстовских утверждений. Чтобы завербовать Гаршина в ряды последовательных толстовцев, Чертков дал ему прочитать запрещенные сочинения Толстого. Эти произведения, клеймившие нравы и порядки царской России, ошеломили Гаршина огромной художественной силой, но все-таки не сбили его с занятых по отношению к толстовству позиций.

Припомним гениальное определение, которое дал Ленин толстовскому учению: «С одной стороны — замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т.-е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; — с другой сто-

роны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т.-е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины»[1].

Эта двойственность Толстого и приводила в смятение молодого писателя. Он восхищался художественной силой и искренностью толстовского протеста против общественной лжи и фальши, но никак не мог согласиться с выводами великого писателя, никак не мог стать в ряды интеллигентских «хлюпиков» — толстовцев — и поверить, что эти люди способны победить мир насилия и угнетения.

«Дорогой Владимир Григорьевич, — писал Гаршин Черткову после прочтения запрещенных книг Толстого, — благодарю Вас за книги. Я уже прочел последний том (кроме того, что читал прежде). Я должен Вам сказать, что я беру назад почти все, что говорил Вам. Кажется, беру назад потому, что я судил обо всех этих вещах по отрывкам, сказанным или (врагами) противниками Льва Николаевича или его (друзьями) защитниками. Я не хочу сказать этим, что я согласен; совсем нет: многое, признаюсь откровенно, мне чуждо и даже больше, ненавистно[2]. А многое, большая часть, так близко и... Но теперь (т. е. эти дни, может быть, недели и месяцы) я спорить не буду, потому что это слишком важное дело, а я ошеломлен. Именно ошеломлен. Простите за бессвязность письма: я пишу позднею ночью и очень расстроен...»

Что̀ именно Гаршину чуждо и ненавистно в толстовстве, пожалуй, не нуждается в комментариях после приведенного выше письма к брату, свидетельства Фаусека и других.

---

[1] В. И. Ленин, Соч., т. XII, стр. 332.

[2] Разрядка наша.—*Н. Б.*

Нам кажется, что уже записка к Черткову может служить окончательной отповедью тем критикам, которые пытались бы зачислить горячего поклонника толстовского таланта в ряды последовательных толстовствующих «хлюпиков».

Последние годы жизни Гаршина отмечены нежной дружбой с крупнейшим русским художником Репиным. Их дружба завязалась и окрепла в годы возвращения Гаршина после болезни к литературной деятельности.

Репин, приехавший из Москвы в Петербург в 1882 году, познакомился с кружком молодых писателей: Гаршиным, Фофановым, Минским, Ясинским, Бибиковым и другими.

Собирались обычно в квартире Репина, и Гаршин был частым участником этих собраний. Репин полюбил молодого писателя. Его влекли к нему обаяние его кроткой, нежной души и недюжинный ум. Как художника его привлекала необыкновенная красота лица Гаршина, и с первой же встречи ему захотелось написать его портрет.

В свою очередь, Репин очень понравился Гаршину. «Очень я сошелся с Репиным, — сообщает он Латкину. — Как человек он мне нравится не меньше, чем как художник. Такое милое, простое, доброе и умное создание божие этот Илья Ефимыч, а к тому еще, насколько я мог оценить, сильный характер, при видимой мягкости и даже нежности. Не говоря о том, как привлекателен уже самый талант его».

Вскоре Репин привел в исполнение свое намерение и начал писать с Гаршина этюд, послуживший ему впоследствии основой для создания образа царевича Ивана в знаменитой картине «Иван Грозный».

Встречи художника и писателя, неизменно сердечные и дружественные, стали систематическими. Летом 1884 года Репин приступил к работе над портретом Гаршина. Писатель приходил к нему на сеансы и подолгу позировал.



В. М. Гаршин. (1885—1888 гг.)
(С портрета худ. И. Е. Репина.)

«Когда Гаршин входил ко мне, — вспоминал впоследствии Репин, — я чувствовал это всегда еще до его звонка. А он входил бесшумно и всегда вносил с собой тихий восторг, словно бесплотный ангел». Когда Репин писал фон и разные мелкие детали, Гаршин читал ему вслух. После сеанса, в сумерки, художник провожал писателя, и в бесконечных разговорах они подолгу блуждали по петербургским улицам.

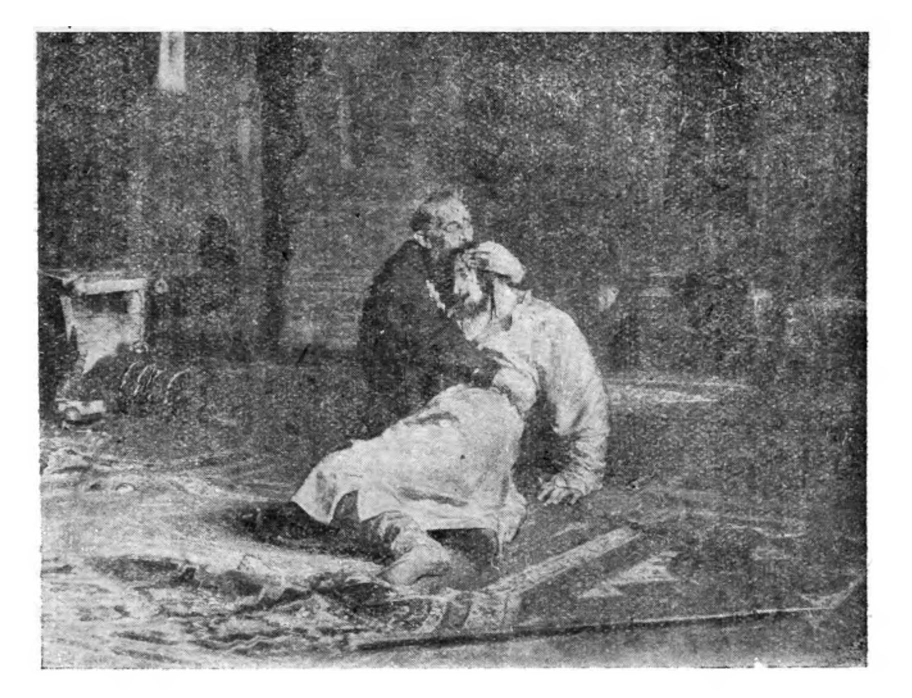
Гаршин в этот период был нездоров. Он и к Репину часто приходил в удрученном состоянии, тихо вздыхал, и глаза его заволакивались слезами. Однако Гаршин не хотел, чтобы его состояние доставляло кому-нибудь беспокойство, и старался шуткой или смешной историей отвлечь от себя внимание. Он рассказывал при этом так остро и умело, что Репин долго смеялся и постоянно вспоминал его шутки.

С каждым днем дружба их крепла. Репин считал Гаршина одним из лучших молодых писателей эпохи. Гаршин преклонялся перед реалистическим талантом художника и огромным, впечатляющим действием его картин на массы.

После окончания портрета Гаршина Репин приступил к большой картине «Иван Грозный». Он попросил Гаршина позировать ему для царевича Ивана.

Как-то Репина спросили, почему он решил царевичу придать черты Гаршина. Художник объяснил, что, задумав картину, он искал людей, у которых в фигуре, в чертах лица выражалось бы то, что ему хотелось показать в картине. В лице Гаршина его поразила печать обреченности. Именно такое лицо, по мнению Репина, и могло соответствовать задуманному образу царевича Ивана.

Домашние Репина с большим интересом относились к приходу гостя. «Когда Гаршин входил, — вспоминает дочь художника Вера Ильинична Репина, — то смотрел прямо, как бы не видя, своими грустными черными глазами, и на них как будто были слезы. И я всегда спрашивала сама себя: что с ним? Почему так скорбно приподняты брови? Кто его обидел?»



«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.»
(С картины худ. И. Е. Репина.)

На очередной XIII выставке передвижников появилась новая картина И. Репина «Иван Грозный». Картина вызвала сенсацию в петербургском обществе.

Гаршин, как зачарованный, ходил на выставку почти ежедневно, подолгу останавливаясь перед этой картиной, всякий раз заново содрогаясь при виде алой крови, сочащейся из виска царевича и растекающейся струей по ковру.

Талант Репина потряс Гаршина. Он не находил слов, чтоб выразить свое преклонение перед реалистическим мастерством великого русского художника.

«Как мне жалко, что тебя здесь нет! — пишет Гаршин своему другу Латкину. — Приехал П. и говорит, что ты везде споришь об искусстве, всегда ставишь русское так высоко, как истинный «сын отечества». В каком бы восторге был ты теперь, увидев «Ивана Грозного» Репина. Да, такой картины у нас еще не было ни у Репина, ни у кого другого — и я желал бы осмотреть все европейские галлереи для того только, чтобы сказать то же и про Европу... Представь себе Грозного, с которого соскочил царь, соскочил Грозный, тиран, владыка, — ничего этого нет; пред тобою только выбитый из седла зверь, который под влиянием страшного удара на минуту стал человеком. Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин. У меня нет похвалы для этой картины, которая была бы ее достойна...»

Примерно в одно время с Гаршиным выставку Репина посетил Победоносцев. Интересно сопоставить отзывы этих двух людей — могущественного диктатора, идейного вдохновителя реакции, и знаменитого писателя: каждый из них по-своему олицетворял эпоху восьмидесятых годов.

Победоносцев писал своему другу и коронованному ученику Александру III: «Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: «Иоанн Грозный с убитым сыном».

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. Слышно, что Ваше Величество намерены посетить выставку на-днях, и, конечно, сами увидите эту картину. (Пометка Александра III на полях: «завтра».)

Удивительное ныне художество, без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклонностью и были противны. А эта картина просто отвратительна. Трудно и понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иоанн Грозный? Кроме тенденции известного рода не приберешь другого мотива. Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент и всей своей обстановкой чисто фантастический, а не исторический...»

Весной 1885 года Гаршин начал подумывать о переезде из Петербурга в провинцию. Столичная жизнь утомляла писателя. Служба, работа в Литературном фонде, дрязги и сплетни в писательской среде — на все это тратилось понапрасну чересчур много сил. Кроме того, жена Гаршина, окончившая медицинские курсы и ставшая врачом, не могла найти работы в Петербурге. Однако планы Гаршина не были осуществлены. Им помешала болезнь.

Летом Гаршин опять затосковал и почти не мог работать. Отчаяние вновь охватило его душу.

«Мои дела очень плохи, — грустно звучат строки его письма к другу. — Я сделал большую глупость: вместо того, чтобы летом взять отпуск и уехать куда-нибудь в деревню, я все перемогался, и вот дотянул до того, что стал никуда негодным. Спасибо Ф. Е. Фельдману[1] за то, что он отнесся участливо к моему плачевному состоянию и освободил меня от работы на неопределенное время, несмотря на то, что теперь съезд, и очень важный, с пре-

[1] Начальник по службе.—*Н. Б.*

многими хлопотами и возней. Я сижу дома, ничего не делаю и иногда подвергаюсь припадкам тоски, от которой навзрыд реву по часу. Вот уже три недели, как я не на службе, еще недель четыре или пять можно пользоваться добротой Фельдмана, потом придется бросить место, если я не приду в сколько-нибудь сносное состояние и не буду способен работать. Не для фразы скажу тебе, что часто горько сожалел я, что пуля восемь лет тому назад не взяла немного левее. Что это за жизнь: вечный страх, вечный стыд перед близкими людьми, жизнь которым отравляешь. За что Наде такое горе и за что мне такая любовь и самоотвержение? Она теперь живет мной одним, а во мне хватает гадости еще капризничать и ссориться с ней.

Я никогда так не хотел умереть, как теперь. О самоубийстве я, конечно, не думаю: это была бы последняя подлость.

Голова постоянно болит, памяти нет, бессилие и вялость постоянно валят в постель. И над всем этим мучительный страх сойти с ума и опять испытать весь этот ад».

К осени Гаршин немного поправился. Он вновь начал ходить на службу и приступил к работе над «Сказанием о гордом Аггее». Зима и весна 1885/86 года прошли без особых происшествий. В эту зиму Гаршин принимал горячее участие в делах Литературного фонда, выполнял различные поручения этой организации и рекомендовал новых членов.

Как мы видим, в жизни Гаршина за годы после его выздоровления не было особенно крупных событий. Это будни литературного пролетария, добывающего себе пропитание еще службой в качестве мелкого чиновника. И тем не менее, в эти годы литературная популярность Гаршина выросла до огромных размеров. Он стал подлинным любимцем своего поколения.

В его новеллах демократическая интеллигенция восьми-

десятых годов находила отзвук собственных мыслей и переживаний. Подвиг безумца из «Красного цветка», готового в одиночку бороться против огромного мира зла и насилия, был укором обывательской успокоенности, которая начала охватывать значительные круги общества. Выступления Гаршина на вечерах Литературного фонда с чтением своих рассказов превращались в триумф. Писатель, зовущий в своих поэтических произведениях к подвигу самопожертвования, вызывал чувства восторга и преклонения.

«Посещая часто театр, — пишет в своих воспоминаниях писатель Бибиков, — я привык к овациям, которые устраиваются актерам и актрисам; я видел, как встречали Сарру Бернар, — но все это бледнеет перед встречей публикой Всеволода Гаршина в тот памятный для меня вечер[1]. Когда он вышел на сцену, рукоплескания, начавшиеся еще до его появления, усилились до невероятных размеров: встали многие и в партере и в ложах, стучали стульями, дамы — веерами, и минут двадцать не смолкали плески и крики. Наконец Гаршин сел за стол, раскрыл книгу. «Красный цветок» — прочитал он заглавие рассказа, и опять затрещали аплодисменты в галлерее, их тотчас подхватил партер, поднялась новая буря рукоплесканий; Гаршин должен был встать, и долго восторженная толпа не позволяла ему начать чтения. То же повторилось и по окончании чтения; Гаршина вызывали бесчисленное число раз, и я как теперь вижу его, счастливого и гордого своим успехом: он проходит по сцене к своему столу и, не кланяясь, смотрит на протянутые к нему руки, белые платки галлереи и слушает этот слитный, долгий крик тысячной толпы, повторяющей на разные лады его фамилию...»

Особенной симпатией пользовался Гаршин у учащейся молодежи. Обаяние его таланта и грусть, разлитая в его

---

[1] Бибиков присутствовал весной 1886 г. на вечере Литературного фонда, где выступали писатели с чтением своих произведений.—*Н. Б.*

произведениях, столь близкая поколению восьмидесятников, привлекали к нему тысячи сердец.

На студенческих вечерах, где присутствовал Гаршин, его носили на руках, качали. В театре, на публичных лекциях он неизменно привлекал к себе внимание. Из уст в уста восторженным шопотом передавалась его фамилия. Портреты писателя расходились во множестве экземпляров. Альбомы студентов, курсисток, гимназистов и гимназисток старших классов были украшены портретами любимого писателя. Гаршин достиг зенита славы.

КАТАСТРОФА

Пришла весна. На этот раз болезнь, обычно подстерегавшая Гаршина каждое лето, как будто не торопилась. Он уже начинал надеяться, что этим летом избегнет ее приступов.

Увы, надежды его не оправдались. Летом он вновь почувствовал себя плохо. Он жил на даче под Петербургом, в Сухопутной таможне, и по целым дням оставался в постели, не в силах подняться. Он страшно исхудал и жаловался на полнейшее изнеможение.

По временам он испытывал страшные боли в одном месте головы, доводившие его до исступленного крика.

Своим близким друзьям Гаршин поведал, что в течение зимы у него сложился план новой повести. Большую часть ее Гаршин успел изложить на бумаге, но болезнь помешала ему, а теперь он просто з а б ы л, что хотел написать. Рукопись же в припадке тоски он сжег.

Несмотря на тяжелое лето, зимой к Гаршину вернулось бодрое настроение. Окружающие с удивлением наблюдали эту резкую перемену; они вновь видели его в эту зиму 1886/87 года оживленным, веселым, полным сил — как в лучшие периоды его жизни. Он посещал все выставки картин и мастерские художников, мог целыми часами говорить

о теории и истории искусства. В эту зиму он особенно прилежно изучал также материалы петровской эпохи и редактировал «Обзоры детской литературы».

Неожиданно пришло известие о смерти Надсона. В январе тело поэта привезли из Ялты в Петербург. Гаршин был глубоко опечален безвременной гибелью талантливого юноши. Он принял участие в похоронах и на могиле поэта, волнуясь, в слезах, прочел новое стихотворение Полонского, посвященное памяти покойного.

Весной Гаршин вместе со старым своим другом Гердом и его дочерью предпринял поездку в Крым. Новые места, изумительные по красоте пейзажи, благотворный климат, море — все это укрепило его нервы и силы. В Крыму он написал очерк о художественных выставках. Его взгляды на искусство (вспомним Рябинина в «Художниках») в основном совпадали с взглядами «передвижников». Писатель высоко ставил призвание художника. Художник, по его мнению, это человек, который «по сравнению с толпой лучше видит и может передать другим то, что он видит...»

«Первое, что думает каждый, прочитавший или увидевший высокое создание искусства, — пишет Гаршин в своем очерке: — «Как это похоже, как это верно, как это знакомо, и тем не менее я в первый раз увидел это, сознал это!» Часто один мощный художественный образ влагает в нашу душу более, чем добытое многими годами жизни».

С этими высокими требованиями Гаршин подходит к оценке творчества русских художников.

Выставка «передвижников» в 1887 году была в основном посвящена Сурикову и Поленову. Подробно разобрав картины этих первоклассных мастеров, Гаршин с чувством законной гордости восклицает: «Трудно представить себе даже, чтобы искусство, едва вышедшее из пеленок, существующее как самостоятельная школа едва каких-либо тридцать лет, могло давать подобные выставки из года в год...»

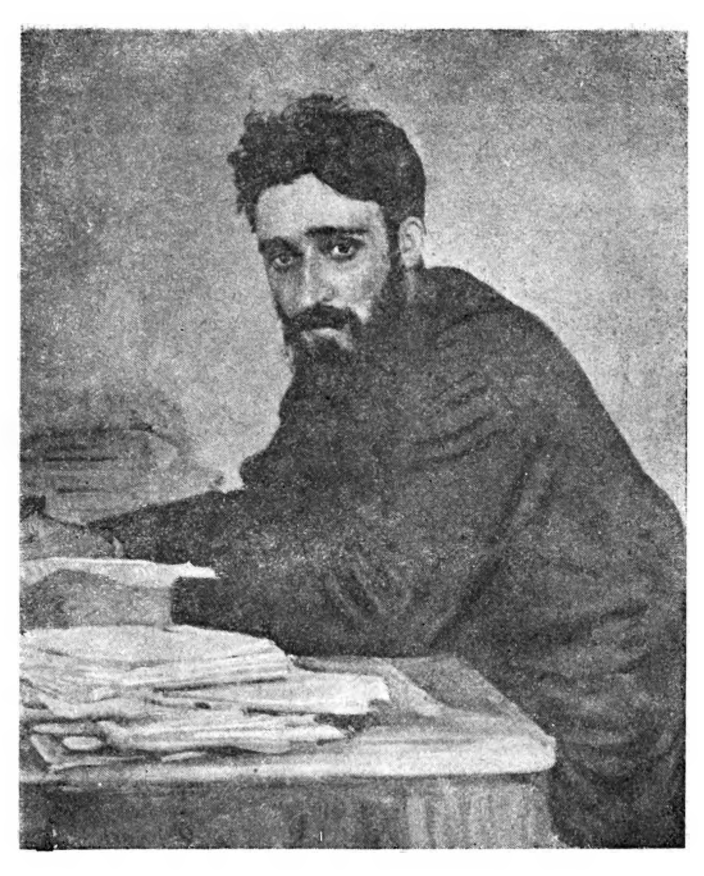
В бодром настроении он вернулся в Петербург и взялся за работу над романом о Петре. С наслаждением ездил по местам, где бывал император. Гаршин любил Петербург, знал все закоулки этого города и часто представлял себе Петра то в одном, то в другом месте Петербурга. По обыкновению, он вынашивал в уме и в воображении образ, который затем переносил на бумагу.

Наступил май, приближалось лето — самое страшное для писателя время года. Но на этот раз настроение его не ухудшилось. Гаршин надеялся этим летом осуществить свою заветную мечту — поехать в Англию, кроме того, он хотел побывать на юге и потому лишь временно поселился у родственников жены под Петербургом, в Сухопутной таможне.

Однако предчувствие несчастья не покидало Гаршина даже в самые лучшие периоды его жизни. Однажды в мае 1887 года, когда он казался здоровым и веселым, занимаясь любимым делом — переплетением книг, он неожиданно обратился к жене и попросил ее записать стихотворение, сложившееся в его уме:

Свеча погасла, и фитиль дымящий,
Зловонный чад обильно разносящий,
Во мраке красной точкою горит.
В моей душе погасло пламя жизни,
И только искра горькой укоризны
Своей судьбе дымится и чадит.
И реет душный чад воспоминаний
Над головою, полной упований,
В дни лучшие, на настоящий миг,
И что обманут я мечтой своею,
Что я уже напрасно в мире тлею,—
Я только в этот скорбный миг постиг.

Мрачность этого стихотворения испугала молодую женщину. Она с беспокойством спросила, почему ему пришли в голову такие стихи. Писатель с грустью ответил, что не верит в полное освобождение от злого недуга, а в совре-



В. М. Гаршин. 1884 г.
(С портрета худ. И. Е. Репина.)

менной обстановке больной человек — это «фитиль дымящий, зловонный чад обильно разносящий».

В июне Гаршин в несколько дней написал новый рассказ. К несчастью, рассказ этот не увидел света, так как при первых же припадках тоски — а они вновь наступили у Гаршина с июля, — он сжег рукопись. Сюжет этого рассказа он подробно изложил своим друзьям, как только ему стало немного лучше.

«Это была, — вспоминал Фаусек, — странная история с ярким фантастическим характером; в ней были длинные диалоги научного и философского характера. Идея рассказа заключалась в защите дерзаний в науке, в праве людей науки дерзать и ошибаться. Это был протест против нетерпимости консерваторов науки. В повести действовали ученые, молодые и старые, профессора и их ученики, начинающие, но уже гордые своим знанием и враждебные ко всему, что, по их мнению, «не научно». Гаршин доказывал, что в истории науки много раз создавались теории и учения, казавшиеся в свое время грубыми заблуждениями, а впоследствии открывавшие человечеству новые области.

Главными действующими лицами повести были два молодых приятеля: один — начинающий ученый, молодой самодовольный педант, другой — замкнутый в себе странный, болезненный чудак, с наклонностями к отвлеченному мышлению. Этот мыслитель додумался до медиумических явлений.

По совету своего друга он демонстрирует обществу ученых скептиков новые, таинственные явления, которые он открыл. За обнаружение своей «творческой силы» он поплатился всей своей душевной деятельностью: после сеанса он впал в неизлечимое слабоумие...»

Близилась осень, но состояние Гаршина не улучшалось. Еще с лета он перестал ходить на службу, а сейчас обычное выздоровление не наступало, и он сам предложил начальнику взять на его место временного заместителя.

Вскоре Гаршин почувствовал себя несколько лучше и решил вернуться на службу. Он полагал, что механическая, по существу, служебная работа, может быть, будет ему даже полезна.

Каково же было его огорчение и разочарование, когда новый заместитель встретил его с вытянутым лицом и, презрительно путая его имя и отчество, начал ему выговаривать за запущенные дела.

Самоуверенный чиновник стал корить смущенного писателя за плохо подшитые папки, за недостаточную четкость в канцелярских бумагах, уверяя, его, что съезд недоволен его работой.

Гаршин, возмущенный и растерянный, тут же написал заявление об отставке.

Призрак нищеты и голода вновь надвинулся на семейство Гаршина.

Физические и нравственные муки не оставляли несчастного писателя весь последний год его жизни. Друзья видели его страдания, но не знали, как, помочь ему. Гаршин страшно изменился, платье висело на его исхудалом теле, образуя нелепые складки. Глаза глубоко запали и горели лихорадочным блеском. Лицо поражало своей бледностью. Во время разговора он вдруг замолкал и с горьким плачем целовал руки своей жены, ища у нее защиты и утешения.

Порой, провожая друзей на лестницу, со свечкой в руках, он шопотом, чтобы не слышала жена, обращался к своему собеседнику: «Право, лучше умереть, чем жить в тягость себе и другим».

Часто он обращался к друзьям с одной и той же фразой, с мыслью, которая ему, повидимому, не давала покоя:

«О, если бы нашелся друг, который покончил со мной из жалости, когда я потеряю рассудок».

Однажды, чтобы его утешить, Надежда Михайловна дала торжественное обещание исполнить его желание. Это его немного успокоило.

Ему уже было трудно ходить по улице. На воздухе кружилась голова, и Гаршин рисковал попасть под конно-железную дорогу. Заходя к приятелям, он нехотя раздевался, бродил унылый и вялый по комнатам, равнодушный ко всему, разглядывал книги и картины. Иногда под влиянием друзей, пытавшихся его развлечь, он немного оживлялся, но вскоре впадал в прежнее состояние.

Некоторые друзья советовали ему уехать на юг; художник Ярошенко предлагал поехать в Кисловодск к нему на дачу, но Гаршин боялся зимой уезжать из Петербурга: он боялся одиночества и еще больше — тоски.

Как-то Гаршин прочитал в газетах, что в Симбирской губернии требуется на фабрику с татарским населением женщина-врач. (Требование объяснялось тем, что татарки решались лечиться лишь у женщин-врачей.)

Гаршин посоветовал жене предложить свои услуги. Он мечтал уехать вместе с ней подальше от Петербурга, на лоне природы заняться своей любимой ботаникой и укрепить свои нервы.

Надежда Михайловна подала заявление, и так как женщин-врачей было мало, место за ней оставили.

Угнетающе действовали на больные нервы писателя его отношения с родными, точнее, с матерью и братом.

Екатерина Степановна не любила своей невестки, и это причиняло немало огорчений Гаршину. Брат его, Евгений Михайлович, влюбился в младшую сестру его жены. По закону православной церкви женитьба двух братьев на двух родных сестрах не разрешалась. Чтобы обойти закон, нужно было с большим риском венчаться где-нибудь в отдаленной местности, скрыв от священника это родство и дав взятку полиции.

Молодые люди очень горевали, и Гаршин с женой приложили много усилий, чтобы помочь им.

К несчастью, брак этот, осуществленный с большим трудом, оказался неудачным. Брат Гаршина вскоре после

свадьбы охладел к своей жене. Вдобавок, Екатерина Степановна возненавидела и вторую невестку. Ссоры в доме не прекращались, и муж принял сторону матери против жены. Обстановка стала настолько невыносимой, что возмущенная молодая женщина покинула мужа.

Всеволод Михайлович, посвященный во все подробности этой семейной драмы, стыдился поведения своих родных. Лето молодая женщина провела в деревне, а осенью, по приглашению семьи Гаршиных, переехала к ним на квартиру и здесь родила девочку.

Расхождение между братьями наметилось, впрочем, еще задолго до этого. Евгений Гаршин, в отличие от своего старшего брата, обладал житейской сметкой. Одно время он даже занялся коммерцией и открыл книжный магазин. Став в ряды благонамеренных обывателей, он с иронией припоминал старшему брату времена «Отечественных записок», разговоров о «высоких идеалах» и т. д.

Мать полностью сочувствовала младшему сыну, и в этой семейной распре они объединились против Всеволода Михайловича и его жены.

Гаршин до глубины души был возмущен бездушным отношением брата к жене и ребенку: Евгений ни разу не наведался к жене, не интересовался ее судьбой и судьбой ребенка, а на упреки Всеволода отвечал письмами, полными раздражения.

Положение отвергнутой жены с каждым днем становилось все более тяжелым и ложным. Надежда Михайловна не могла более видеть страдания своей сестры и решилась объясниться со свекровью. Во время объяснения Екатерина Степановна грубо оскорбила невестку. Молодая женщина в слезах уехала домой. На следующий день Всеволод сам решил поговорить с матерью. Он не хотел верить, что мать способна так обидеть его жену. Объяснение окончилось тем, что мать в раздражении прокляла сына.

Гаршин любил свою мать. Несправедливые нападки,

оскорбления, драматическое проклятие, которым она его проводила, — все это нанесло жестокий удар его больным нервам.

На следующий день после объяснения с матерью Репин встретил Гаршина на улице. Гаршин показался ему более бледным, чем обычно, и чрезвычайно возбужденным. Они заговорили о новой вещи Короленко, но вдруг Репин заметил, что у Всеволода Михайловича на глазах слезы. Художник прервал разговор и стал участливо расспрашивать Гаршина о причинах грусти. Гаршин тут же на улице поведал ему скорбную историю своих отношений с родными. Вся душа его возмущалась тем, что даже близкие ему люди совершают подлости и несправедливости и сильный торжествует над слабым. Рассказывая, он плакал горькими слезами, и Репин с трудом поддерживал его, содрогавшегося от рыданий.

На каждом шагу Гаршин сталкивался с проявлениями насилия, угнетения, грубости и злобы. Как-то одной январской ночью на Невском проспекте дворники и городовые с улюлюканием и насмешками тащили в участок девушку, заподозренную в проституции. Вдруг перед ватагой дворников и здоровенных полицейских выросла фигура молодого человека с огромными глазами на мертвенно бледном лице. Это был Гаршин. Он горячо вступился за несчастную... Начался скандал, с пронзительными свистками полицейских, с гоготом праздных любителей уличных сцен. Происшествие завершилось протоколом в полицейском участке и штрафом за «нарушение общественной тишины».

Гаршин не обвинял городовых и дворников за их поведение. Он говорил на другой день друзьям и знакомым, что в ночном происшествии по-настоящему виновны не слепые исполнители жестоких предписаний, а тот строй, который порождает это издевательство над людьми.

Обстановка в литературном мире также мало способствовала улучшению душевного состояния Гаршина. Скло-

ки, дрязги, сплетни особенно пышно расцветали в застойную пору общественного разброда восьмидесятых годов.

Пожалуй, единственным отрадным моментом в этот период жизни Гаршина было появление в России нового замечательного писателя — Чехова.

В начале марта 1888 года Гаршин явился рано утром к своему другу Фаусеку. Он был весел, возбужден, глаза его сияли радостью.

— Я пришел сообщить тебе замечательную новость — в России появился новый первоклассный писатель.

Гаршин восторженно стал говорить о последнем рассказе Антона Чехова «Степь», напечатанном в «Северном вестнике». Этот рассказ произвел на Гаршина необыкновенное впечатление. Он почувствовал к автору благодарность и не находил слов похвалы его таланту.

Вечером Гаршин собрал друзей специально для читки вслух чеховского рассказа. Читал он очень хорошо и вместе со всеми восхищался мастерскими описаниями знакомой ему украинской природы.

В марте Гаршин начал собираться в путь, на юг, чтобы воспользоваться предложением художника Ярошенко и пожить на его даче в Кисловодске.

Перед самым отъездом в его состоянии вновь наступило ухудшение. Он встревожился, поспешил написать духовное завещание, чтобы в случае смерти обеспечить жену и избавить от необходимости обращаться к матери и брату, и поехал с женой к доктору Фрею. Психиатр внимательно осмотрел его и посоветовал скорее уехать на юг, чтобы переменить обстановку. Он надеялся, что в новых условиях опасность обострения заболевания минует Гаршина.

Но Гаршин стал просить доктора Фрея разрешить ему остаться в лечебнице. Он боялся уезжать. Доктор, однако, упорно настаивал на отъезде. Лишь спустя двадцать лет Надежда Михайловна узнала от ассистентки врача об истинных причинах нежелания доктора Фрея оставить Гар-

шина в своей лечебнице. Оказывается, «знаменитый» психиатр боялся, что Гаршин, находясь в болезненном состоянии, может покончить жизнь самоубийством, и хотел оградить свою частную лечебницу от рискованного пациента.

Окончательный отъезд был назначен на 20 марта. Накануне все вещи были уложены и все приготовления к отъезду закончены. Гаршин не спал всю ночь. Невыносимая тоска овладела им. Жизнь, в которой он не находил путей борьбы, опоры, ни одной светлой точки, казалась ему ужасным бременем, бесконечной цепью страданий.

Гонимый бессонницей и тоской, он вышел из квартиры на лестницу. Перед его глазами предстал зияющий пролет лестницы. Он не раз уже останавливался у этого пролета, но прежде он находил в себе достаточно сил, чтобы отбросить мысль, которую считал подлостью. Он ясно представил себе: одно движение, и там, на дне лестничной клетки, он найдет избавление от страданий. Надломленная воля и мозг, измученный бессонницей и тоской, уже не могли остановить рокового шага. Чернеющий пролет манил неудержимо. Гаршин бросился вниз.

Ни шума падения тела, ни стонов Гаршина никто не слыхал...

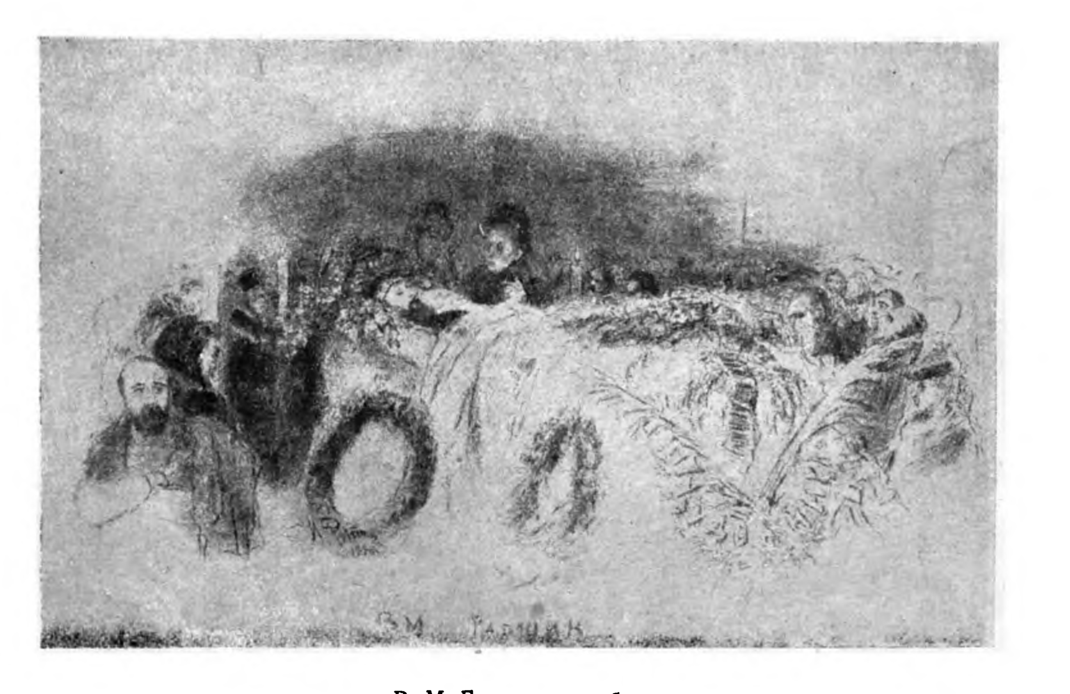
Надежда Михайловна в этот момент находилась у дворника, договариваясь о разных хозяйственных мелочах в связи с предстоящим отъездом.

Ничего не подозревая, она вернулась в квартиру, заглянула в спальню, но Гаршина в комнате не оказалось. Дверь на лестницу была открыта.

Тяжелое предчувствие охватило молодую женщину. Испуганная, она выбежала на лестницу и услышала в темноте лестничного пролета стон.

Надежда Михайловна окликнула мужа и бросилась вниз. На каменном полу, распростертый, лежал Гаршин.

— Надя, ты не бойся, я еще жив, только сломал себе ногу, — с трудом прошептал он.



В. М. Гаршин в гробу.
(*Карандашная зарисовка худ. И. Е. Репина.*)

На крик Надежды Михайловны сбежались люди.

Через несколько минут писателя перенесли в квартиру. Гаршин был еще в сознании и, целуя руки жены, горестно умолял ее о прощении за причиненные страдания.

У постели умирающего собрались его близкие друзья. Старик Герд спросил Гаршина, больно ли ему и страдает ли он. «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь», ответил писатель, указывая на сердце.

В больнице, куда его вскоре перевезли, Гаршин впал в бессознательное состояние и уже не приходил в себя до самой смерти.

24 марта 1888 года страдальческая жизнь замечательного русского писателя кончилась. Гаршин умер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смерть Гаршина вызвала широкий отклик в самых разнообразных кругах читающей России. Потрясенный и скорбный Репин два дня провел у изголовья Гаршина; он писал его последний портрет. Своего друга он изобразил лежащим в гробу, усыпанном красными цветами; по бокам красноватым пламенем горят две свечи. Лицо Гаршина напоминает лицо царевича Ивана. Слова Репина об обреченности, которую он видел в лице Гаршина, оказались пророческими.

Рано утром у ворот лечебницы собралась тысячная толпа. До самого Волкова кладбища гроб с телом писателя несли на руках студенты, литераторы и друзья покойного. Катафалк утопал в цветах и бесчисленных венках от учебных заведений и писательских организаций. На могиле Гаршина были произнесены речи и прочитаны стихи. Писателя оплакивала вся радикально-прогрессивная интеллигенция.

В память покойного были выпущены два сборника, в которых наряду с воспоминаниями друзей и родных нашли

место также рассказы и рисунки известных писателей и художников той эпохи.

Репин украсил сборник «Красный цветок» обложкой, на которой изобразил огромный, зловеще-красный мак. Этим он хотел подчеркнуть тождество Гаршина с героем его замечательного рассказа. На обратной стороне обложки, на фоне ночного пейзажа, художник нарисовал свиток, украшенный тернием и красным цветком. На свитке почерком Гаршина выведены строки из его рассказа:

«... *никто не заметил его; старик, дежуривший у постели, вероятно, спит крепким сном...*

...звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца...

«Я иду к вам», прошептал он, глядя на небо...»

В другом сборнике — «Память Гаршина» — был помещен рисунок Репина, иллюстрирующий гаршинский рассказ «Художники». Этим рисунком Репин как бы прощался со своим безвременно погибшим другом.

На рисунке показаны художники Рябинин и Дедов, проходящие по набережной; мимо них оборванные рабочие тащат, надрываясь, тяжелые мешки. Безмерно печальны глаза Рябинина, устремленные на рабочих. Дедов же оживлен, и его внимание привлечено каким-то уличным происшествием. Репин придал Рябинину черты Гаршина, а Дедову свои собственные черты. Великий художник как бы говорил, что в их дружбе Гаршин был Рябининым, а он, Репин, — Дедовым.

Рябинин постоянно искал правду жизни, он требовал от искусства самоотверженной борьбы со злом и угнетением. Он требовал, чтобы художник брал темы для картин из гущи жизни и показывал эту жизнь без прикрас.

Дедов же любуется пейзажами и ищет красоту ради красоты, ради наслаждения, которое она дает, он «добрый и невинный, как сам пейзаж, и страстно влюблен в свое искусство».

Конечно Репин не был Дедовым. Со стороны автора «Бурлаков», «Не ждали» и «Грозного» это было лишь покаянным преувеличением, чтобы еще больше оттенить благородную роль Гаршина в их дружбе.

Вскоре вокруг имени трагически погибшего писателя разгорелась литературная борьба. Самоубийство Гаршина вызвало оживленную полемику в печати. Большинство писателей и критиков пыталось объяснить его последний роковой поступок исключительно наследственным предрасположением к тяжелому недугу и страхом вновь заболеть.

В этом дружном хоре одиноко прозвучал голос Глеба Успенского, решительно протестовавшего против обывательского псевдомедицинского объяснения преждевременной гибели писателя.

Гаршина при жизни не понимали. Его лучшие поступки, благороднейшие побуждения пытались объяснить проявлением той или иной формы ненормальности. Его самоубийство легче и проще всего было объяснить лишь нервным расстройством. Это успокаивало совесть и облегчало душу его либеральствующих друзей.

Было бы неверно отрицать предрасположение Гаршина к нервному заболеванию, его острую восприимчивость к впечатлениям внешней жизни. Но какова была эта жизнь, которую он воспринимал своими обнаженными, болезненными, тонко чувствующими нервами?

Гаршин жил и творил в один из самых тяжелых периодов русской истории. На протяжении всей жизни писателя нарастал конфликт между его стремлением к свободе, добру и справедливости и жестокой русской действительностью эпохи Победоносцева.

Болезнь Гаршина питалась впечатлениями внешней жизни. Оттуда, из жизни, шли толчки, обострявшие ее.

Бесполезная борьба группы террористов с самодержавием, выстрел Млодецкого, попытка заступничества за осужденного к смерти, лицемерие и обман Лорис-Меликова —

вот цепь событий, выбившая Гаршина из «нормальной» колеи жизни.

Гаршин был окружен славой, любовью друзей и признанием читателей. Но чего стоит слава, если уход с мелкой чиновничьей должности грозит ему полным материальным крахом и нищетой! Слава приносила Гаршину и врагов и завистников. Визиты литературных паразитов отнимали у него остатки сил и здоровья. Слава на каждом шагу оборачивалась к Гаршину своей теневой стороной.

Однако ни одно из гнетущих обстоятельств его быта не загораживало от него окружающей жизни, неисчислимых страданий людей его родины и всего человечества той эпохи.

У него были острый ум и чуткое сердце. Каждое явление зла, произвола и насилия он переживал со всем напряжением своих болезненных нервов. И результатом были те чудесные реалистические произведения, которые утвердили навсегда его имя и в русской и в мировой литературе.

Так вырастал замечательный мастер новеллы, один из первых творцов этого жанра в русской литературе.

Гаршин был убежденным противником натуралистического протоколизма. Изгоняя из своей поэтики бытовые мелочи и детали, заслоняющие подлинную сущность явлений, Гаршин стремился писать сжато и экономно.

На его творчество оказали влияние Андерсен (аллегорические сказки), Ч. Диккенс, Флобер, Мопассан и особенно Лев Толстой.

Гаршин работал над своими произведениями с редкой писательской добросовестностью, шлифуя каждое слово. Когда однажды Репин спросил у него, почему он не напишет большой роман, Гаршин ответил, что есть короткие произведения, которые остаются в веках, а есть толстые тома, написанные опытными писателями, имевшие при выходе успех, а затем позабытые и недостойные даже почетного названия книги. Гаршин рассказывал, как он выбра-

сывает из своих рассказов ворохи макулатуры, удаляет весь баласт, все лишнее, что могло бы мешать чтению произведения, восприятию его. Это он считал важнейшей задачей писателя.

Язык Гаршинских произведений ярок, выразителен и лаконичен. Поэтичность, достигнутая без вычурности, и прозрачная чистота слога характерны для большинства гаршинских новелл.

«...В его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, — писал после его смерти Глеб Успенский, — положительно исчерпано все содержание нашей жизни, в условиях которой пришлось жить и Гаршину и всем его читателям. Говоря «все содержание жизни нашей», я не употребляю здесь какой-нибудь пышной и необдуманной фразы, — нет, именно все, что давала наиболее важного его уму и сердцу наша жизнь (наша — не значит только русская, а жизнь людей нашего времени вообще), все до последней черты пережито, перечувствовано им самим, жгучим чувством, и именно потому-то и могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких книжках».

Политическая реакция в стране укрепилась. Все прогрессивное, все честное бралось мракобесами под политическое сомнение и изгонялось. Цензура свирепствовала. Подлость, угодничество, обывательщина расцветали пышным цветом.

Попытки, как десять лет назад, броситься в гущу политической борьбы с горячими словами любви и всепрощения казались Гаршину сейчас уже наивными и бесполезными.

Гаршин не понимал той громадной освободительной роли, которую должен был сыграть в русской жизни нарождающийся пролетариат. Гаршин был современником знаменитой морозовской стачки 1885 года, но не оценил ее настоящего значения.

Великий народ собирал силы для новой, настоящей борьбы за свое счастье и освобождение. Больной Гаршин этого не видел и не понимал. Он не дождался эпохи, когда молодой рабочий класс выковал в кровопролитных боях свою большевистскую партию, своих гениальных вождей и под их руководством начал штурмовать столь могучее, казалось, здание самодержавия.

Несмотря на неопределенность, расплывчатость его политических стремлений, Гаршин ценен и дорог советскому народу тем, что он — подлинный писатель-гуманист, что основой его творчества была горячая любовь к своему народу, что он ярко, выпукло, проникновенно показал жизнь и страдания людей исчезнувшего навеки безрадостного прошлого.

«Муза писателя не находила в окружающей его действительности ничего радостного, ничего положительного», обычно заключают критики гаршинского творчества. Гаршин и не хотел искать в этой действительности ничего положительного, он не мог и не хотел мириться с гнусностями современного ему реакционного режима, он не верил, что в этой кромешной тьме может сиять луч света. Вот в чем корни пресловутого «пессимизма» Гаршина, который так охотно выдвигался на первый план многими критиками. Пессимизм Гаршина — это слезы скованного мечтателя над судьбой любимой родины. Его пессимизм выражал нежелание благородного писателя мириться с гнусностями современного ему общества; это был своеобразный социальный протест. Пессимизм Гаршина часто непосредственно противопоставлялся казенному «оптимизму» представителей реакционного буржуазно-либерального лагеря, призывавших к апологетике мрачной действительности:

«Читая Гаршина, словно слушаешь прекрасную музыку,— писала большевистская «Правда» двадцать пять лет назад, в годовщину смерти писателя в (1913 году) —...Его грусть становится так дорога всем, кто разгадает ее. Это грустный

человек, сознающий свое одиночество, сознающий свое бессилие поворотить мир к добру, «когда вокруг все равнодушные и глухие люди...»

Царское правительство боялось произведений Гаршина и старалось спрятать их от народа. Недавно найденные документы из архива царской цензуры показывают, как свирепо преследовало самодержавное правительство гаршинские рассказы при жизни и после смерти писателя.

Цензурный комитет считал, что гаршинские рассказы могут нанести «ущерб значению как царской власти, так и церковной иерархии и питать мысли, клонящиеся к унижению их достоинства».

Целый поток грозных циркуляров предписывал «запретить» гаршинские рассказы, «не допускать их в школьные библиотеки и народные читальни». Царский цензор Кочетов писал о рассказе «Четыре дня», что «...это тенденциозный и вредный рассказ не должен иметь доступа не только в школы, но и в руки народа»; по его мнению, этот рассказ нужно было изъять из обращения и уничтожить.

Запрещая и преследуя гаршинские рассказы, царские цензоры (например Шемякин), исходили из того, что «все эти сказки и рассказы написаны весьма талантливо, языком живым и образным», — это, повидимому, особенно подстегивало в стремлении спрятать их от народа.

Лишь сейчас, в Советской стране, произведения Гаршина стали доступны народу. Печаль и безысходность в произведениях Гаршина легко преодолеваются советским читателем, живущим в эпоху, когда вопросы, мучившие Гаршина, давно разрешены, когда с угнетением, насилием и эксплоатацией в нашей стране покончено навсегда, когда сам народ строит свою счастливую, радостную жизнь.

Но нам неизменно дороги его демократические устремления, его жгучий протест против социально-политических условий той поры, нам дорога его горячая любовь ко всем

трудящимся и угнетенным, его благородная мечта о лучшем будущем человечества.

Пятидесятилетие со дня смерти Гаршина было торжественно отмечено всем советским народом. Большевистская «Правда», как и двадцать пять лет назад, высоко оценивала личность и творчество этого замечательного писателя. В дни годовщины «Правда» писала: «Он был художник в полном и высоком значении этого слова. Взыскательный. строгий к себе. То, что Гаршин успел создать за свою короткую, обидно быстро сгоревшую жизнь, принадлежит к лучшим образцам нашей литературы.

В произведениях Гаршина отразились гуманистические и свободолюбивые традиции великой русской литературы».

Советский народ всегда с любовью и глубоким уважением будет вспоминать тех благородных рыцарей-мечтателей, которые, не дождавшись зари освобождения, зачахли и погибли в мертвящей атмосфере старого мира. Гаршин — один из них.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ О В. М. ГАРШИНЕ

Абрамов, Я. Всеволод Михайлович Гаршин. (Материалы для биографии.) «Памяти В. М. Гаршина». Художественно-литературный сборник.—СПБ, 1889 г., стр. 1—60.

Акимов, В. Всеволод Гаршин и его пребывание в Ефимовке 1880—1882.—«Красный цветок». Литературный сборник в память В. М. Гаршина. Прилож. к журн. «Нива», 19.0 г., стр. 15—20.

Арсеньев, К. В. Гаршин и его творчество.—«Вестник Европы», 1888 г., кн. 5-я, стр. 239—258.

Баранцевич, К. В. М. Гаршин. (К 25-летию со дня смерти.)—«Путь», 1913 г., кн. 3-я, стр. 32—34. То же в другой редакции: Из воспоминаний о В. М. Гаршине.—«Солнце России» № 13 от 23 марта 1913 г., стр. 8—9.

Батюшков, Ф. Памяти Гаршина.—«Современный мир», 1908 г., кн. IV, стр. 99.

Бибиков, В. Рассказы.—СПБ, 1888 г., стр. 347—381.

Бялый, Г. А. В. М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов.—Изд. Академии наук СССР, 1937 г.

Видлер, Ф. Ф. Литературные силуэты. Из воспоминаний.—«Новое слово», 1914 г., кн. 1-я, стр. 68—75.

В. О. Смерть Гаршина.—«Речь» № 75 от 18 марта 1913 г. (Детали трагической смерти Г. со слов В. М. Латкина.)

Васильев, А. В. М. Гаршин на службе.—«Красный цветок».—Литературный сборник в память В. М Гаршина—СПБ, 1889 г., стр. 24—29.

Венгеров, С. Биографические очерки о Гаршине: 1) «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона», т. VIII, стр. 103—104, 2) «Новый энциклопедический словарь», т. XII, стр. 714—716.

Гарин, Д. Моя единственная встреча с Гаршиным. — «Красный цветок». Литературный сборник в память В. М. Гаршина.—СПБ, 1889 г., стр. 29—32.

Гаршин, Е. М. «Литературные беседы», «Биржевые ведомости» № 91 от 1 апреля 1888 г.

Гаршин, Е. М. В. М. Гаршин. Воспоминания.—«Родник», 1888 г., кн. 6-я, стр. 559—569. Перепечатано: Полн. собр. соч. В. М. Гаршина. Прилож. к журн. «Нива», 1910 г., стр. 9—15.

Гаршин, Е. М. Как писался «Рядовой Иванов».—«Солнце России» № 13 от 23 марта 1913 г., стр. 4—5.

Гаршин, Е. М. Литературный дебют Всеволода Гаршина.—«Русская мысль», 1913 г., кн. 5-я, стр. 105—111.

Дейч, Л. Молодость Г. В. Плеханова. Воспоминапия. — «Былое», 1918 г., кн. 7-я, стр. 127.

Демчинский, Н. А. В. М. Гаршин перед картиной И. Е. Репина.—«Солнце России» № 13 от 23 марта 1913 г., стр. 9.

Димитриева, В. И. Так было. (Путь моей жизни.) — «Молодая гвардия», 1930 г., стр. 121, 197, 217—219, 274, 276, 280, 445, 453.

Дурылин, С. Н. В. М. Гаршин. Из записок биографа.—Сборн. «Звенья» за 1935 г., стр. 571—676.

Дурылин, С. Н. Репин и Гаршин. — Гос. Академия художественных наук, Москва, 1926 г.

Засодимский, П. На могиле Гаршина. 26 марта 1888 г.—«День» № 39 от 30 марта 1888 г.

Златовратский, Н. Из литературных воспоминаний.—«Русские ведомости» № 152 от 4 июня 1897 г.

Кирпичников, А. Всеволод Михайлович Гаршин (личные воспоминания).—«Вестник воспитания», 1903 г., кн. 1-я, стр. 15—37.

Короленко, В. Г. Критические очерки.

Малышев, М. О Всеволоде Гаршине. — «Памяти В. М. Гаршина». Художественно-литературный сборник.—СПБ, 1889 г., стр. 124—129.

Микулич, В. Всеволод Гаршин.—«Исторический вестник», 1914 г., кн. 1-я, стр. 120—134.

Минский, Н. Несколько слов о Гаршине по поводу десятилетия его смерти.—«Новости» № 96 от 9 апреля 1898 г.

Налимов, А. К воспоминаниям о Всеволоде Гаршине.—«Образование», 1898 г., кн. 3-я, стр. 51—53.

Пантелеев, Л. Памяти В. М. Гаршина.— «Современная иллюстрация» от 24 марта 1913 г., кн. 7-я, стр. 248.

Плеханов, Г. В. Собрание сочинений, т. X, стр. 377, 1925 г.

Победоносцев, К. П. и его корреспонденты. Письма и записки.— Госиздат, 1923 г.

Рейнгард, Н. В. Две встречи (воспоминания о В. М. Гаршине).— «Красный цветок». Литературный сборник в память В. М. Гаршина.— СПБ, 1889 г., стр. 54—59.

Репин И. Е. Мои воспоминания. — Изд-во «Искусство», 1937 г.

Репина, Вера. Из детских воспоминаний дочери И. Е. Репина.— «Нива» № 29, 1914 г., стр. 573.
Скабичевский, А. Предисловие к собранию сочинений В. М. Гаршина.
Соколов, В. П. Гаршины. — «Исторический вестник», 1916 г., кн. 4-я и 5-я, стр. 130-158 и 399—426.
Сухотина-Толстая, Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. 1923 г., стр. 14—15.
Толстой, Илья. Мои воспоминания.—Москва, 1914 г., стр. 150—156, гл. 15.
Успенский, Глеб. Смерть В. М. Гаршина.—«Русские ведомости» от 12 апреля 1888 г., № 101. Перепечатано: «Памяти В. М. Гаршина». Художественно-литературный сборник. — СПБ. 1889 г., стр. 147—160; «Красный цветок». Литературный сборник в память В. М. Гаршина. Прилож. к журн. «Нива». 1910 г., стр. 77-87.
Фаусек, Виктор. Памяти Всеволода Михайловича Гаршина.— «Памяти В. М. Гаршина». Художественно-литературный сборник.—СПБ, 1889 г., стр. 77—123. Перепечатано: Полн. собр. соч. В. М. Гаршина. Прилож. к журн. «Нива», 1910 г., стр. 28-63.
Фаусек, Вячеслав. Из воспоминаний о В М. Гаршине.—«Современный мир», 1913 г., кн. 3-я, стр. 57—65.
Фаусек, Ю. И. Последний год жизни В. М. Гаршина.—«Русская молва» от 24 марта 1913 г., № 102.
Чертков, В. Г. Письма В. М. Гаршина В. Г. Черткову.—Сборник «Звенья» за 1935 г, стр. 677—681.
Чуковский, К. О В. М. Гаршине. — «Русская мысль», 1909 г., кн. 12-я, стр. 117—141.
Эртель, А. О Всеволоде Гаршине.—«Русские ведомости» от 2 мая 1888 г., № 119. Перепечатано: «Красный цветок». Литературный сборник в память В М. Гаршина.—СПБ, 1889 г., стр. 45—53.
Ясинский. Роман моей жизни.—Госиздат, 19.6 г., стр. 138—139, 147—148, 150, 170, 172—173, 180, 214—215, 233—236.

Цена 2 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1 9 3 8